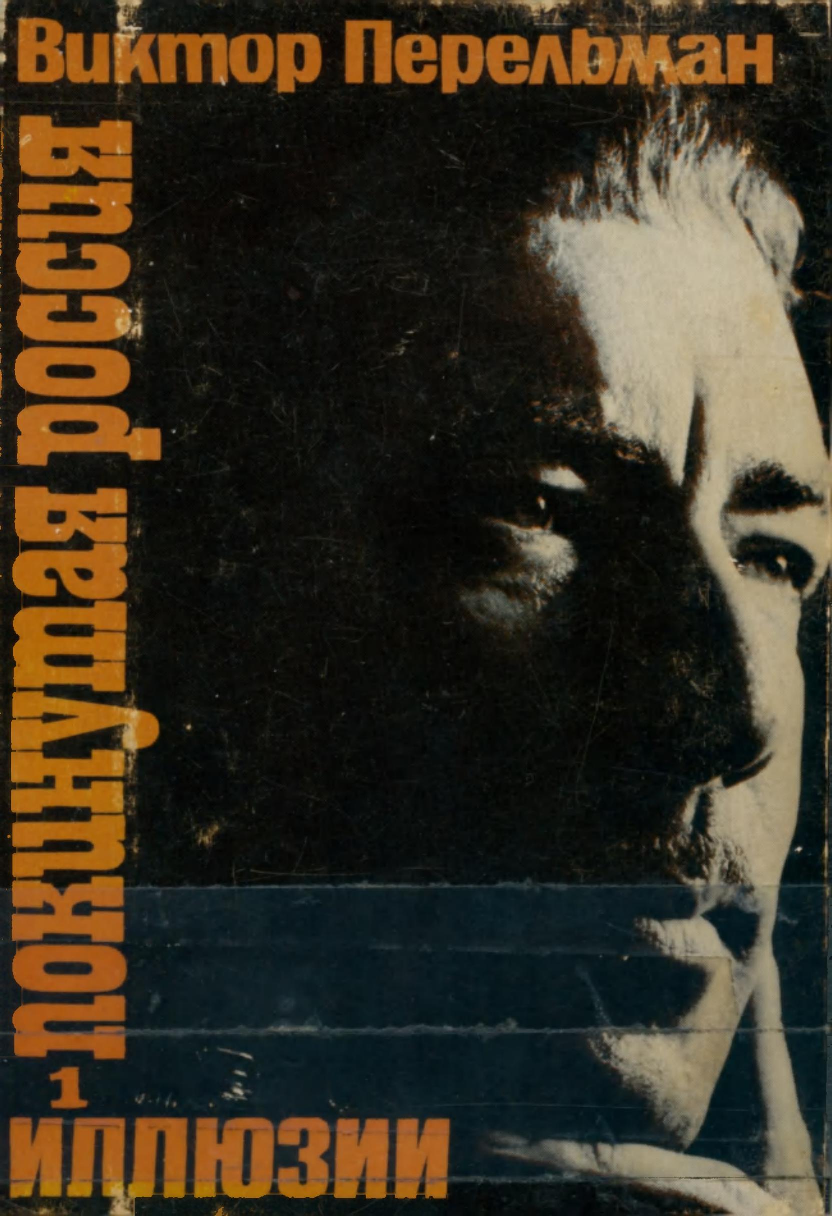
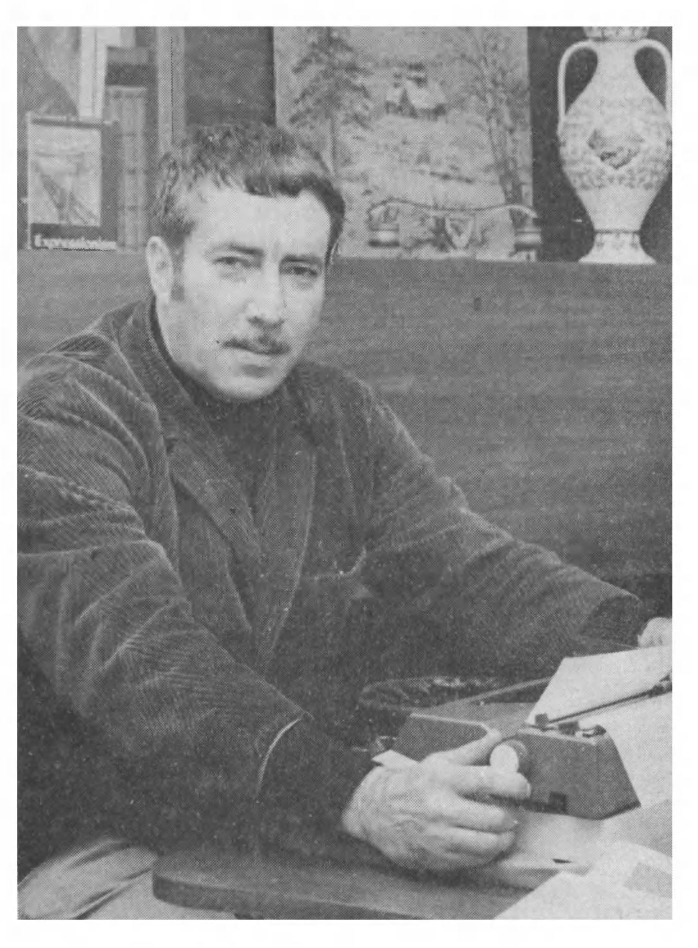

Виктор Перельман
Покинутая Россия
1
Иллюзии


ВиМ



ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

покинутая россия

КНИГА ПЕРВАЯ

ИЛЛЮЗИИ



Издательство "Время и мы"

1976

СКВОЗЬ ИСПОВЕДЬ СЫНА ВЕКА

Медленно и неохотно поддаваясь, проскрипели и приоткрылись ворота, выпуская на волю в широкий мир вчерашних обитателей страны, о которой пелось, что она "страна героев, страна мечтателей, страна ученых" и что в ней "с каждым днем все радостнее жить". Но об этой же стране было известно, что границы ее "всегда на замке", а "если враг не сдается — его уничтожают". Лучшие люди нашего столетия — Ромен Роллан, Бернард Шоу, Лион Фейхтвангер — держатели патента на благородство, числили себя ее друзьями. Лишь отдельные жалкие перебежчики, которых и слушать-то никто не слушал, доносили тревожные вести. Выходило, по их словам, что героев страна казнит, мечтателей гноит в тюрьмах, а ученым создает все условия для свободного творчества в лагерных шарашках.

Граждане ее даже на три дня не бывали отпускаемы за границу иначе, чем по согласованию с парткомом и месткомом, — граница действительно была на замке и с внутренней стороны запиралась крепче, чем снаружи. Врагов же уничтожали непрерывно, не ведя даже переговоров о сдаче, и никто не мог бы сказать с уверенностью, что завтра не окажется зачисленным во враги.

С 7 ноября 1917 года и по сей день не прекращается в этой стране гражданская война правительства с населением, жестокая война на истребление безоружных, превентивная война против возможных зачатков инакомыслия.

Еврейское упорство изнутри, поддержанное силой еврейской солидарности снаружи, не вдруг и не настежь, но раздвинуло заржавленные от неупотребления ворота. Чуть обозначилась между створками щель, и возле этой узкой щелки немедленно выстроилась длинная очередь на выход, и в ней не одни только евреи. При выходе их на прощанье шмонали, не давая унести с собой то дедушкины часы, то нынешнюю хохломскую поделку. Но на дне чемоданов и рюкзаков более всего сберегались многими пачки плотно исписанных листочков. И некоторые унесли их на волю. Теперь эти листочки продолжают жить в виде книжек.

Сколько их вышло уж за самые последние годы! "Тесные врата" Ю. Глазова, "Россия без прикрас и умолчаний" Л. Владимирова, "Заложники" Г. Свирского, "Диссидент поневоле" Е. Эткинда, "Трепет забот иудейских" Ал. Воронеля... И вот перед нами еще одна. Книга бывшего московского журналиста Виктора Перельмана "Покинутая Россия".

Как и большинство названных выше книг, она написана не здесь, а т а м, что показательно. Все эти книги — а они ни в чем не сходствуют, кроме этой подробности, — написаны для себя и лишь изданы для других. Здесь расчеты с прошлым, с самим собой, здесь выход из сферы заблуждения, необходимая остановка, без которой невозможно двигаться дальше. Ныне течением времени довольно далеко отнесло автора от его собственных рассуждений о прошлом. Склонившись над рукописью в своей московской квартире, автор, думаю, чувствовал

возможными читателями тех людей, среди которых прошла вся его жизнь, себе и им объяснял нелегко давшееся решение выйти из привычной игры, себе и им излагал смысл ее непреложных правил. Ныне читатель у книги другой. Но автор справедливо решил ничего не менять — измененная, это была бы уже другая книга с другим героем.

Важно же рассказать именно об этом, о еврейском мальчике, родившемся в Москве в конце двадцатых годов, перед войной ставшем пионером, а на исходе ее — комсомольцем, о юноше, с волнением сочинявшем от лица своих сверстников "Письмо товарищу Сталину", о школьнике и студенте, о партийном журналисте, далеком от всякого критиканства, но просто стремившемся порой совместить "передовое мировоззрение" с состраданием к отдельным человеческим бедам, — и битым неоднократно за каждую такую попытку. Название данной статьи, перекликающееся с заглавием известного романа Альфреда Мюссе, не имеет целью польстить автору. Век был препротивный папаша и не наставлял добру. (Так и лермонтовский "Герой нашего времени" звучал для автора и современников с ударением на втором или третьем слове, и не о героизме шла речь.) У века множество сыновей. Вот исповедь послушного сына. Послушного до поры до времени.

Автору удается соединить сегодняшнюю иронию по отношению к себе давно прошедшему с непосредственной передачей прошлых ощущений. Отчетливо видно старание не умудрять ранее бывшее опытом сегодняшнего дня и не частое умение говорить о себе беспощадно.

Еще до рождения автора-героя ткань затянута в жесткую рамку пялец истории и уже задана канва, по которой время вышьет его личный сюжет. Жизнь давно обряжена в известные лозунги-формулы "бессмертного учения",

которое "всесильно, потому что оно верно". Истина найдена, дальнейшие поиски ее заказаны, и отныне сыновья века должны лишь сверяться с известной идеологической таблицей: "три источника и три составные части марксизма", или "пять признаков нации", или что-то подобное в том же роде. Десятилетиями нас будут спрашивать на экзаменах: "Почему в-шестых победила революция?" — и мы очень не скоро задумаемся, почему же она победила во-первых, и если победила она, то кто же тогда потерпел поражение.

Светлое советское детство: горн и барабан, юнгштурмовка и нашивки пионерского активиста на рукаве. Две слабые тени омрачают праздник вхождения в жизнь. Не спит ночами отец, прислушиваясь к шагам на лестнице, — на дворе как раз 1937 год. Враги повсюду, всеведущи и коварны. Некий мистический туман наползает на ясную, распланированную по пятилеткам на века, счастливую жизнь: "если перевернуть вверх ногами картинку букваря с Колонным залом Дома Союзов, то получится огромный уродливый таракан. Недремлющие вредители действовали даже здесь". Это первое слабое пятнышко, предвестье будущих загадок и противоречий, иррациональная тень, едва касающаяся юных душ, обреченных марксистскому рационализму.

Но время дум еще не настало. Пока что надо спешить жить: играть в штандр, бежать на каток... И ежеминутно ощущать, что живешь: "в самой юной счастливой стране", где мысли прямы и просты, все дороги открыты и все равны от рождения... Но мальчик идет по бульвару, а вслед ему, в нарушение прописей и правил: "Абрашка! еврейчик! жид!" Это та беда, которую еврейские дети чаще всего не доносят до родителей; никто их специально не учит, а все же они быстро понимают: с этим надо справляться самим. Московский интеллигентный дом:

разговоры на национальные темы не ведутся — неприличны. Семья оставляет сына безоружным. На том месте, где полагается быть спокойной уверенности национального самосознания, у него лишь ощущение врожденного уродства, незаслуженного невезения. Вот он стоит перед зеркалом, разглядывая мальчишеские бицепсы, и мечтательно бормочет о себе в третьем лице: "Он был еврейского происхождения, но русского телосложения". Эвакуация, задворки жизни, глубинка, нутряной антисемитизм быдла дополнят эту мечту о силе проверенным способом защиты своего личного достоинства: за жида — в морду! Другой способ, который герой отыскивает сам, традиционно еврейский: утверждение своего интеллектуального превосходства, честолюбие детской учености, успехи в школьных науках. Еврейской тени суждено удлиняться в жизни героя. На выходе из отрочества, совпавшего с годами войны, он уже имеет некоторый жизненный опыт, который, если бы он тогда стремился к обобщениям, мог бы свидетельствовать, что официальные формулы, по крайней мере, не покрывают всего пространства жизни и часто оказываются ложью.

"Главное — не обобщайте", — учили нас на случай замеченных отдельных недостатков. "Есть правда жизни и правда факта", — сообщили нам, когда мы подросли. Наши мелкие беды шли по разряду "фактов", великая правда жизни совершалась помимо них, и следовало верить, что она прекрасна. Из дальнейшего хода повествования ясно, что герой книги, как и большинство его сограждан, в своей житейской практике учитывает "правду факта", но таков поразительный эффект советского воспитания, что кричащий ужас жизни долгое время не колеблет основ государственного вероучения.

Еврейство, "пятый пункт" — был "первым пунктом", в котором обнаружилось для послевоенного поколения,

что страна разделяет своих детей на сыновей и пасынков. Россия выиграла войну с фашизмом — это правда жизни,а то, что еврейских медалистов отвергают с порога московские вузы — всего лишь мелкая правда факта. И то, что из перечня детей разных советских народов, от лица которых наш герой приветствовал в день окончания школы лично товарища Сталина, райкомовский цензор вымарал евреев — тоже мелочь: "Русских в стране сто миллионов, а евреев сколько? Я не знал сколько именно, но был уверен, что ничтожно мало. Постыдной и уничижительной кажется мне сегодня эта философия, но я обязан ее излагать такой, какой она жила во мне тогда".

Время в книге Виктора Перельмана разложено не по десятилетиям — по годам. У него на редкость точная память. Сорок шестой послевоенный год, раздетый, разутый и голодный, но опьяненный надеждами и ожиданием близких перемен, дан им в точном ощущении и потому, что в жизни автора то была начальная пора юности, и потому, что сходными напряженными ожиданиями жила тогда вся измученная страна.

Иронически посмеиваясь над банальностью своего младенческого романтизма, автор рассказывает, как после мрака эвакуации простые приметы забытого мирного времени казались выросшим подросткам из далеких возвышенно-прекрасных миров: "Эля и Неля, наши обожаемые л а у р ы, с газовыми шальками на плечах, сидели в старинных плетеных качалках (даже качалки, казалось, из с к а з о к), а у их ног расположились их верные р ы ц а р и и читали стихи". Нужды нет, что из двух "верных рыцарей" один доносчик, а другой — его будущая жертва, что у одного из них впереди кресло партийного идеологического босса, а у другого — место на нарах в одном из уголков необъятной страны

Зэка. Сорок шестой год не похож на сорок восьмой или сорок девятый, и младшему поколению подмосковного дачного "салона" еще позволено с надеждой смотреть в будущее, читать Пастернака и слушать рассказы Шолом-Алейхема.

Год 1948. Год 1949. Счастливые студенческие времена: вечеринки, девушки, самому себе непонятная жестокость, комсомольская работа. И фоном ко всему не диспуты красноречивых защитников права — не забудем, что речь идет о Юридическом институте,— а смертельные заседания Ученого совета, на которых творится суд и расправа над самыми грозными вчерашними профессорами — дело космополита Черниловского, дело космополита Гурвича, дело космополита Стальгевича. При виде растерянного и униженного вчерашнего неприступного экзаменатора даже самый тупой студент сообразит кое-что по части современного ему права.

Наш герой далеко не из самых несообразительных — он только не знает еще, что, когда клеймят безродных космополитов, дело касается и его. Трудно это было — догадаться уже тогда, что тебя касается и что не касается.

Надрывается зал, аплодируя палачу Вышинскому, — "и я тоже дубасил ладонями даже тогда, когда Вышинский с издевочкой говорил о государстве, где читают справа налево. Что мне до этого Израиля? Жил без него и дальше проживу. Другое дело, моя страна, мой институт...". И пока в "своей стране, в своем институте" сооружает он "комсомольское дело Ильиной", "которая ходила в слишком короткой юбке и красила перекисью волосы", и в ответ на растерянность и слезы отрубает решительно (какой высокий образец прокурорского лаконизма видит он перед собой в эту минуту?!) : "Довольно! Она не искренна. Предлагаю исключить". Среди многих счетов, предъявляемых сегодня советской власти, Вик-

тор Перельман достает из собственного прошлого и этот: счет за растление молодости.

Придет, придет черед и его собственному персональному дело, раздутому из пустяка, и так же крикнут ему: "Довольно, он не искренен". Ситуации трафаретны, роли расписаны, правила игры известны: на этот раз твой черед водить, стой и кайся — кто знает, игра, быть может, со смертельным исходом.

В эти опасные игры играет вся страна: в космополитов, во вредителей, в "дело врачей" — уже 1952 год. Сюжеты надуманы, плохо скроены и неладно сшиты, но пахнут кровью и потому серьезны. Медленно набирает силу в книге эта тема постоянной игры по известным всем правилам. Смерть Сталина в 1953 году тоже подана в книге в житейском преломлении и игровой официально-патетической трактовке. Из старой газетной подшивки извлекает автор репортаж Алексея Суркова, выражения скорби, которыми советская литература — род потешных войск при великом кормчем — проводила в гроб главного режиссера кровавых всесоюзных игрищ, длившихся три десятилетия: "...на капитанском мостике корабля истории... мундир генералиссимуса... седина, как ранний осенний снег... родной, любимый... неутомимый труженик, заботник за всех нас..." А на соседней странице в взаправдашней жизни, бьется знакомая еврейская тревога — мечутся у репродуктора родители героя: "Борис, Борис, что же будет?! Что будет?" — "Что? Что ты разбегалась? Что будет, то будет! — Хуже не будет!"

Вот так и идет вдоль всех воспоминаний Виктора Перельмана дорога, накатанная в две колеи: то, что было на самом деле, и то, чему, с официальной точки зрения, полагалось быть, — та самая двухколейка, по которой катится современная Россия. В России поверх жизни

творится внежизненный условно-литературный сюжет, потом этот сюжет записывается в официальную историю. "Год великого перелома", "Сталинский план коллективизации сельского хозяйства", Пленум ЦК "О мероприятиях по крутому подъему...". Шестьдесят лет советское сельское хозяйство "на крутом подъеме", а мяса нет и хлеба не хватает... Многократно говорилось в советской печати об отставании литературы от жизни, но корень зла в том, что дело обстоит как раз наоборот: жизнь не поспевает за бодрой поступью газет, отстает от предписанного ей государственного литературного сюжета.

По роду своих занятий — журналист, и журналист партийный, автор, торопясь и оступаясь, шкандыбал по обеим колеям сразу — в напряженных поисках той точки, где сойдутся вместе две проклятые колеи: слово и дело, лозунг и факт, агитка и жизнь. Перебираясь из захолустного "Мособлполиграфиздата" на страницы видной столичной газеты "Труд", из областной газетенки "За рулем автомобиля" в богатый журнал "Советские профсоюзы", из глубин журналистики кидаясь в жизнь — на рыболовном сейнере уходя на месяца в море, а оттуда вознесясь в редакцию элитарной "Литературной газеты", — автор так и не нашел точки слияния идеологической фразеологии с жизнью, с реальностью, которую он видел вокруг себя. Всякий раз, поднимаясь со ступени на ступень, он полагал, что разделался с занятием, для которого придумано в современном русском языке много выразительных названий: "туфтить", "заливать бабки", "наводить тень на плетень", "раскидывать чернуху", "лить воду"... Но с каждой новой ступени воды лилось все больше и больше. Сам автор называет ее "akva pura", "чистая вода", — но это вода не чистая, это грязная вода демагогии.

Мутные волны этой воды приносят кому деньги, кому степень, кому большую карьеру: защищается докторская диссертация "Государственно-правовое положение советского депутата" — не трактат о бесправии статиста на государственной сцене, а словесная жвачка о том, "как часть функций исполкома сельсовета была передана сессии сельсовета и благодаря этому роль народных избранников еще более возросла".

Я другой такой страны не знаю, где так сильно любили бы образ, троп, перефраз. Где бесправного депутата называли бы "народным избранником", голодного крестьянина — "тружеником колхозных полей",задерганного рабочего — "передовиком коммунистического труда"... Но в книге этой вскрывается и взрывается не только словесный штамп, но и штамп поведения ответственного партийного работника. Как точны, как колоритны эти знакомые речи! Откуда знакомые? В жизни я не видела близко (Бог миловал!) ни одного крупного босса, вроде перельмановских начальников Ликовенкова или Омельченко. Но уменьшаясь, точно слоники на рояле, партийные чиновники, мельчая в должности, сохраняли стиль и жанр.

Точно был некий литературный эталон, которому следовали все они от мала до велика. Думается, что так оно и было на самом деле. Советская литература, вернее, советская демагогическая литературная фантастика, все эти Павленки, Бабаевские, Бубеновы, Калинины — имя же им легион — создали и поставили над жизнью литературный образ большевистского начальника, выдали ему образцы стиля, сочинили этикет и вооружили спецнабором руководящих мудростей и должного остроумия. "Не для того, дядя, нас сюда партия поставила, чтобы мы в цифири увязли", — Господи, думается, да неужели не в "Кавалере Золотой звезды" происходит дело? Нет,

дело происходит в управлении культуры Мосгориспол-кома, и тов. Ликовенков— бывший заместитель министра. Он же рассказывает замечательный эпизод, как в первую военную осень "Сталин хотел лично ознакомиться с положением дел на подступах к столице и каждому из секретарей райкомов задавал один и тот же вопрос: "Как думаете, товарищ Ликовенков,Пресня не подведет Москву?" — "Не подведем, товарищ Сталин. Умрем, а не подведем", — ответил Николай Георгиевич".Точно они вдвоем, Сталин с Ликовенковым, сговорились сыграть эпизод из фильма "Падение Берлина" с актером Геловани в главной роли.

Даже в минуту смертельной опасности Вождь, желая узнать правду, довольствовался чистой пропагандной водицей.

Хороший штамп помогает сделать ненужным обсуждение реального вопроса. "Пусть он скажет, как дошел до жизни такой" — после такого вопроса любые ответы излишни. "Вы, значит, правы, а Центральный Комитет Коммунистической партии Грузии ошибается" — выяснять, кто же в самом деле прав, после этих слов совершенно излишне. "Товарищ Богоявленский прямо мне сказал: "Нарубили тут дров товарищи", — кто ж теперь станет возражать, если товарищ Богоявленский сказал, что нарубили.

Это игра, вроде футбола, и существует множество способов отпасовать мяч и забить противнику идеологический гол.В книге Виктора Перельмана в эту игру играют в редакциях газет,в столичных учреждениях,в Московском комитете партии и в аппарате ЦК.Игра явно берет верх над жизнью,в этой игре забыты Абрам Великовский, жертва антисемитской квартирной травли, страдания девочки Нади Харченко, покушавшейся на самоубийство, желание молодого партийца Васильева помочь работе

сельских клубов. А у героя — автора книги, призванного по роду своей деятельности заниматься производством фикций — репортажей о бригадах коммунистического труда, рабочих починах, связей писательской общественности с производством,— то есть всего того, что, родившись на казенной бумаге, никогда не переходит в жизнь, есть этот проклятый дар нащупывать болевые точки и наивность полагать, что его официальный статут советского журналиста может совместиться в этих точках с внутренним ощущением профессионального долга хоть иногда вступаться за "правду факта". И каждый раз его ждет закономерное и сокрушительное возмездие.

В матче с карающими партийными инстанциями все мячи, поданные со штрафной площадки, летят прямо в его ворота. Приемы партийных способов ведения полемики изумляют не грозной смертоубийственной силой,как это могло бы быть в тридцать седьмом или сорок девятом годах, а сознательным обессмысливанием ситуации. Комиссия партийного контроля вовсе не собирается рассудить, кто кого затравил и оскорбил: антисемитка Иванова инженера Абрама Великовского или наоборот,— комиссия просто проходит мимо неопровержимых доводов автора защитительного фельетона, подменяя вопрос о правоте журналиста надуманным вопросом о том, почему его фельетон прошел в той, а не другой московской газете: "Товарищи! Да ведь он же ничего не понял!" — "Абсолютно ничего! — Торговал фельетоном, как на базаре!" — "Нравы желтой прессы! Позор!"

Так отбит в этом матче мяч, и уже звучит финальный свисток судьи: "Завтра же дадите опровержение!"

Примеры таких игр правдивая повесть Перельмана содержит во множестве. И этот последний представляет особый интерес тем, что в этом скромном эпизоде автору удалось обозначить и ухватить распространенное явле-

ние, которое из-за камуфляжа партийной словесности в чистом виде редко является наружу. Что вы там толкуете об антисемитизме в СССР? Разве нет у нас евреев ученых, писателей, народных артистов и генералов? И они вам сами — стоит только их хорошенько об этом попросить — расскажут, что никогда не встречались ни с чем подобным! Но вот оказывается, что квартирная хулиганка, потаскушка и пьяница найдет защиту в самом ЦК против годами травимого ею видного, награжденного государственными премиями инженера и вступившегося за него публично журналиста центральной газеты. Причина обнажается внезапно и с силой, ошеломляющей героя своей откровенностью. Из практики жизни он, конечно, знает, что антисемитизм существует на всех ступенях официальной иерархии, но и для него оказывается внове обнажение мотивации: "Почему вы считаете, что всегда права только ваша нация?" — Я не поверил своим ушам: "Простите, как вы сказали?" — "А что я сказал особенного, Виктор Борисович, — сказал, что для нас с вами все должны быть равны,какой бы нации человек ни был". Виктор Перельман обнажает механизм действия государственного целенаправленного антисемитизма на уровне аппарата ЦК и убедительно доказывает, что этот сокрушительный механизм может быть приведен в действие даже по ничтожному бытовому поводу.

Злая звезда, дурацкая способность влезать в ситуации, чреватые партийными санкциями, не оставляет автора и в годы, которые казались ему высшим достижением в его журналистской карьере,— годы работы в "Литературной газете". Собственно, вся книга есть история крушения одних надежд за другими, история сужения поля поисков места, где помимо способностей к идеологической игре понадобятся профессиональные достоинства. Недолгое время кажется счастливому новым назна-

чением автору, что единственная живая (наполовину) советская газета может быть таким местом. Всем ходом своей предыдущей жизни он подготовлен к тому, что и здесь занимаются производством фикций, литьем пропагандной воды, игрой по правилам: "Виктор Борисович, вы коммунист, и я надеюсь, правильно поймете то, что я вам скажу. Так вот, возьмите лист бумаги и запишите фамилии писателей, чьи произведения не рекомендовано упоминать: Солженицын, Владимов, Антокольский, Сарнов, Войнович, Аксенов, Копелев, Ахмадуллина, Конецкий..."

В прах разбиваются попытки героя хоть чуть-чуть оживить его разделы в "Литературке". Редакционная практика элитарной московской газеты как две капли воды похожа на ту, что совершалась в ничтожной многотиражке "За рулем автомобиля", только больше цинизма, который участники игры раскрашивают для себя снобистской иронией и сарказмом. Нравы, имена, поступки, редакционные происшествия, которые как некий этнограф, уже отдаляя их от себя, описывает Виктор Перельман, представляют общий интерес как знак неких перемен в обществе. Для многих уже рассеялся фразеологический гипноз, но, утратив горячку энтузиазма, участники игры не утрачивают старания. Поколение циников приходит на смену поколению околпаченных, и прозрение не для всех означает разрыв с заблуждением. Но для автора книги означает. Легко переносит он очередное карьерное крушение, в точности повторяющее предыдущие.

Задача неучастия во лжи для нашего героя решается выходом из игры — бунтом против всего, чему верой и правдой служил столько лет. Отъезд в Израиль для автора—героя книги, как и для многих еврейско-русских интеллигентов, является единственным решением своих

личных и национальных проблем. И важным уроком, извлеченным автором для себя, оказывается следующий вывод: в России жить не по лжи означает уйти из России.

Наталия Рубинштейн

МОСКВА.
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Когда перед глазами с утра до вечера торчит стена соседнего дома, а до ушей ничего не доносится, кроме монотонного тиканья часов, стоящих на шкафу, то в голову начинают лезть мысли о сути бытия. Мысли всякие, и вполне разумные, и совершенно вздорные, находящиеся по ту сторону здравого смысла. Ведь не случайно же психологи пытаются установить зависимость между одиночеством и рождением шизофренических идей. Впрочем, современное общество пересматривает отношение к шизофреникам, убеждаясь, что многие из них способны делать такое, до чего не додуматься здравому смыслу.

Загадкой остается лишь внутреннее самочувствие этих людей — в мире, где столь эфемерны психические границы.

Лично я все чаще ловлю себя на том, что мир для меня раскололся надвое. Внешне как будто бы ничего и не изменилось. Еще только назревает мысль об отъезде. Я — еще член партии и специальный корреспондент "Литературки", но в окружающей жизни меня давно уже нет. И унылое тиканье часов, под аккомпанемент которых я пишу эту рукопись, как поминки по этой жизни. И вечно торчащая стена соседнего дома подобна

стене кладбищенской. Я весь в прошлом, настолько весь, что, кажется, начинаю утрачивать столь привычное двухмерное восприятие жизни. И австриец Мах, утверждавший, в противоположность Энгельсу, что время и пространство — это отнюдь не формы бытия, а лишь "упорядоченные системы рядов ощущений", уже не кажется столь далеким от истины (и, уж во всяком случае, не представляется "поповствующим идеалистом", что я неизменно повторял на экзаменах по философии).

Впрочем, ничего сверхужасного не случилось. Утратив пространственное восприятие жизни, я обрел куда более ценное и ставшее для меня куда более целостным ощущение времени. Если окружающего не существует, то время для меня — это и есть жизнь. И перед тем как покинуть Россию (если мне это дадут сделать), я твердо намерен пройти ее еще раз, с самого начала, словно тот первый ход был ненастоящим, а истинно лишь то единственное, чем я живу сегодня.

...Я никогда не знал своего генеалогического древа. Отец рассказывал, что я вылитая копия деда, служившего всю жизнь меламедом в лепельском хедере. Ни деда, ни бабки по отцовской линии я не застал и даже плохо помню, каким был в молодости отец.

В его письменном столе, кажется, еще хранится полуистлевшая фотография юноши в красноармейском бушлате и высокой папахе. Слегка откинув голову, он ясно смотрит вперед. Плотное, красивое лицо излучает энергию и волю. Таким отец прибыл в 1920 году с Южного фронта в Москву, где получил предписание ЦК Союза печатников выселить "буржуазный элемент" из Бахрушинских домов в Петровском переулке и заселить их пролетарской беднотой.

До революции отец был наборщик, жил в Екатеринославе, Риге, участвовал в стачках и даже отсидел в пятна-

дцатом году несколько месяцев в рижской тюрьме, но в партию почему-то не вступил, хотя всю жизнь считал себя беспартийным большевиком и, как он сам любил говорить, железной рукой выполнял волю революции.

"Буржуазный элемент", занимавший роскошные квартиры в "Малой Бахрушенке", встретил нового управляющего заискивающе. В надежде остаться нетронутым каждый из его представителей звал отца к себе, но, разобравшись, с кем имеют дело, объединились и подали на него в суд.

В зал суда на Мясницкую отец привел внушительную компанию обитателей бахрушинских подвалов, которые, рассевшись на полу, бдительно следили за ходом процесса, а когда суд вынес решение в иске богатеям отказать, встали и громко запели Интернационал. Так, по крайней мере, рассказывал эту историю отец.

Помимо "буржуазного элемента" в Малой Бахрушенке жила интеллигенция — художники, сочувствующие революции, актеры, жили тут поэты, известные и неизвестные, но к ним отец относился вполне лояльно и даже, в чем мог, помогал.

Однажды к нему в конторку пришли двое. Одного отец великолепно знал — это был Мариенгоф, поэт-попутчик, обитавший в Бахрушенке. Другого видел впервые. На нем были лакированные лодочки, хотя на дворе стоял тридцатиградусный мороз, енотовая шуба, на голове — высокий цилиндр. Мариенгоф сказал, что это его друг Сережа Есенин, недавно приехавший из Америки, и попросил разрешения, чтобы тот пожил у него.

По рассказам отца, никакой буржуазный элемент не доставил ему столько хлопот, сколько новый жилец. Днем у Мариенгофа стояла мертвая тишина, но, как только наступал вечер, к отцу в панике прибегали жиль-

цы и снизу, и сверху. Из окна его комнаты на головы прохожих летели бутылки, но ни Мариенгофа, ни его приятеля отец не трогал.

С матерью, неутомимой общественницей Пашей Захарьевой, отец познакомился в сберкассе, где служила она счетоводом. И там же, в Малой Бахрушенке, в доме № 5, по соседству с бывшим театром Корша, родился у них сын, которому по причине, долгие годы остававшейся для меня тайной, сразу же после родильного дома сделали обрезание.

Много лет назад, еще в Москве, жена, уже не помню по какому поводу, заговорила об этом факте с матерью. Та почему-то смутилась и сказала, что все проделали ее родители, гостившие, как на грех, в эти дни у нее в Москве и в своей заботе о внуке оказавшиеся на редкость проворными.

Пока мать сидела в сберкассе, а отец преспокойно принимал в своей конторке жильцов, их новорожденный сын прямо в пеленках был водворен в пролетку к извозчику и отвезен в синагогу.

Когда родители возвратились, я был уже стопроцентным евреем.

В детстве отец и мать никогда не говорили мне о евреях. По-видимому,считали это обстоятельство слишком малозначащим для их сына, который родился в первой в мире Стране Советов и перед которым уже по одному этому должны распахнуться двери в счастливую жизнь.

Само слово "еврей" я услышал впервые от моей няньки Тани при довольно занятных обстоятельствах. Приехала Таня в Москву из голодной Рязанской губернии и во мне не чаяла души. Перед тем служила в домработницах у немцев и, полагая себя знатоком немецкого языка, будила меня по утрам одной и той же са-

краментальной фразой: "Витюша, ком мит а ессен!" И тут же следовал перевод: "Витюша, мой милый, хороший, иди, пожалуйста, кушать".

Кушать для меня было сущей мукой. И еще большей мукой для Тани, вечно тыкавшей мне ложку в рот. Однажды, вконец измаявшись, она не выдержала и гаркнула: "У, еврей! Все матери расскажу!" Мне это пришлось явно не по душе, и, отбросив ложку, я гневно вскричал: "Сама еврейка!" А потом все же решил уточнить, что значит это странное слово. Нянька ответила, что еврей — значит неслух.

Странно: прошло более сорока лет. В тумане остались более поздние годы детства, а эта забавная сценка врезалась в память. И смешные нянькины слова, что еврей — это значит неслух, тоже врезались.

Во всем прочем мое детство было таким же, как у миллионов моих сверстников, с бесконечными играми в "красных" и "белых", с дикими мальчишескими проделками, до которых не додуматься человеку в здравом уме.

Во дворе я вечно крутился на низеньком турничке и однажды в студеный январский день — убейте, не знаю зачем — вздумал лизнуть турник языком. Раз лизнул, другой, и вдруг, к моему ужасу, язык напрочь примерз к железу.

Таня плакала, всплескивала руками, но потом, не знаю уж как, все-таки оторвала меня от турника. Весь день я не мог говорить, а она мазала язык вазелином и приговаривала: "Вот останешься, неслух, без языка, тогда узнаешь..."

К счастью, нянькины слова не оправдались, и язык впоследствии неплохо послужил мне в жизни.

Не знаю, применимо ли к семилетнему человеку

слово "неудачник", но если применимо, то я был наверняка таковым.

На Нарышкинском бульваре, пристрастившись к детскому парашюту, я однажды зацепился за перекладину и... повис в воздухе. Висел и едва не умирал от страха. Но когда служащие принесли лестницу и сняли меня, то не моргнув глазом я с гордостью направился навстречу рыдающей няньке. Она бранила меня последними словами, а я, не обращая на нее внимания, твердо решил, что стану летчиком.

Летом мы ездили к Тане в деревню, в Иерусалимскую слободу. Крестьяне меня обожали, катали верхом, а в сенях завел я свой маленький конный двор — десять отборных рысаков: Самсон, Пегий, Гнедой... — десять ивовых прутьев, оседлав которые я с гиканьем, как оглашенный, носился по слободе, пока однажды не напоролся на гвоздь и меня не отправили в больницу.

Шести лет мать отдала меня в немецкую группу. Учительницу звали тантэ Кари. Каждый из нас имел у нее свою забавную кличку по названиям пальцев на руке. Самый толстый, Боба Бовшовский, был **Der Daumen**, (большой палец), я был **Der Wannenluse** (безымянный) и самый маленький в группе, Гена Васин, — **Der kleine finger** (мизинец). Взявшись за руки и разговаривая только по-немецки, мы важно разгуливали по скверу напротив Большого театра. А когда приходила зима, мы весело приветствовали ее:

Der erste Schnee',
Der erste Schnee,
Die weisen Flocken, fliegen,
Der Winter kommt.
Der Winter kommt,
Wir springen und wir singen.

Перед школой я уже свободно болтал по-немецки, но, разумеется, и думать не думал, что это умение пригодится мне во время войны. Да что там я — ни один здравомыслящий взрослый не мог бы представить, для какой именно цели оно мне понадобится.

В школе у меня появилось сразу два друга — Коля Романов и Коля Эшельман. Первый только что приехал в Москву из деревни. Отец его, бритоголовый, с простодушным лицом и бесцветными глазами человек, устроился милиционером на станции метро "Охотный ряд". В семье его звали Колькя, говорили не "портфель", а "по'ртфель", не "сразу", а "враз"...

У Эшельмана было лицо юного викинга, ходил он в костюме с жилетиком, белой рубашечке с черной тесемочкой на шее. Его отец был из шведов, не то адвокат, не то врач-гомеопат. Уже после войны я случайно увидел Колю Эшельмана в консерватории. Он был с бородой и в довольно странном черном одеянии. С закрытыми глазами он слушал Дебюсси, сложив на груди большие холеные руки. Я даже усомнился: он ли это. А спустя несколько лет "Голос Америки" в одной из своих передач сообщил, что московский священник Николай Эшельман выступил с протестом против преследования группы верующих христиан. Вот уж истинно: неисповедимы пути человеческие!

Любимым нашим занятием было собираться и пересказывать друг другу содержание увиденных кинокартин. Я обожал "Чапаева" и еще больше "Мы из Кронштадта". Я бредил ее главным героем балтийским матросом Андреем Балашовым и всегда кончал свое повествование последними его словами из фильма: "А ну, кто еще пойдет на советскую власть?"

Нет, это была не просто фраза — я и сам вместе с красным балтийцем Балашовым готов был броситься

на всякого, кто бы осмелился пойти на советскую власть. Это была, конечно, детская, не проверенная разумом готовность, но она была. Так же, как была тогда эта детская влюбленность в свою страну у миллионов взрослых.

Я помню дивные майские праздники, когда под золотым багрянцем весеннего солнца шли миллионы людей на Красную площадь. Шли не по разнарядкам отделов кадров, как обычно происходило после войны, а по властному внутреннему велению, когда просто невозможно было оставаться вне этой праздничной круговерти.

Не могли омрачить ее аресты врагов народа — "троцкистско-бухаринских изменников, пытавшихся вонзить нож в спину социалистической Родине". Великий Сталин учил, что по мере нашего продвижения вперед классовая борьба обостряется и очищение от врагов делает жизнь только прекраснее. Такова была сталинская логика, пользующаяся всенародной поддержкой. Страна праздновала победу социализма. Все звенело, все играло красками. И люди, завороженные, как дети, шли по улицам и площадям и пели о своей юной прекрасной стране. Отовсюду, с сотен и тысяч полотен им щедро улыбался вождь и учитель товарищ Сталин. Гигантский портрет вождя висел на Лубянке, на пепельно-сером здании НКВД. Здесь действовал в своих ежовых рукавицах бесстрашный нарком Ежов, "верный ученик и соратник товарища Сталина", "пример железной воли и ненависти к врагам", руководитель боевого органа пролетарской диктатуры.

Один из бывших наркомвнудельцев мне рассказывал, что с января 1937 года они перешли на "осадное" положение. По двадцать четыре часа в сутки работали не только следователи, но и машинистки. Они печатали

списки врагов народа, и от них требовалась исключительная внимательность. Арестованных "судили" особые совещания или тройки. Их приговор был окончательный и обжалованию не подлежал. Все было предрешено. Даже самый гуманный судья был не во власти изменить участь хоть одного заключенного, но достаточно было проскользнуть в список одной помарке, и вождь, с его неизменным требованием ясности, возвращал весь список назад. Он делал это без комментариев, так что никто не знал, в чем дело, и вторично список не решались представлять. Так уж работала эта машина, что не от судей и следователей, а от машинисток зависела жизнь сотен и тысяч людей.

На портретах Сталин никогда не сидел за рабочим столом, не выступал на собраниях и съездах. На всю жизнь мне врезался в память великий вождь, держащий на коленях узбечку Мамлакат. Часто он стоял в окружении ребятни или просто стоял и по-отечески улыбался народу. Казалось, у него была только одна работа — являть вокруг сталинскую теплоту и сталинскую заботу о людях. В сущности, он уже давно стал богом, и для взрослых это было совершенно естественно.

Зато дети с чисто детской непосредственностью лезли к родителям со своими дурацкими вопросами. Мы ехали с матерью в трамвае, и, заглядевшись в окно на портрет вождя, я вдруг спросил: "Мам, а Сталин — член партии?" В вагоне все смущенно заулыбались, а мать испуганно заозиралась по сторонам. Дома она задала мне хорошую вздрючку, чтобы не приставал в другой раз с глупостями.

Теперь, когда я читаю газеты тех лет, то начинаю хорошо понимать настроение людей.

Вот газетные заголовки только одного номера "Правды" от 27 января 1937 года: "Подлые вредители ломали паровозы", "Трижды проклятые народом", "Палачи

лишили меня ног", "Сын Троцкого Сергей Седов пытался отравить рабочих" и т. д.

Не удивительно, что настроение в нашей семье совсем не напоминало серпантинную пастораль, царившую на улицах и площадях.

Отец к тому времени уже успел окончить рабфак и проучился три года в Полиграфическом институте. Но с четвертого курса ушел и теперь работал в объединении "Агроплакат" Наркомзема руководителем производственно-технического отдела. В Наркомземе, где большим влиянием пользовался Бухарин, шли массовые аресты врагов народа.

В "Агроплакате" проходили бесконечные собрания. После одного из них, рассказывала мать, отец вернулся в таком настроении, в каком она не видела его никогда в жизни. Оказывается, только что выступил директор "Агроплаката" Гущин. "Я знаю, — говорил он, — в этом зале сидит еще много неразоблаченных врагов, но знайте и вы, что от нас не уйдет ни один".

В "Агроплакате" начались аресты. Ночами отец, отчаявшись, полуодетый, просиживал на кровати и прислушивался к каждому шороху за окном. Осунувшееся лицо его больше не излучало волю и энергию. И всякий раз, когда к дому, погруженному в страх, подъезжала машина, он делался белым как бумага. Кого же сегодня? Макса Соломоновича, над нами, уже взяли. Зеликовича из одиннадцатой квартиры, которого отец одним из первых вселял в Малую Бахрушенку, — тоже. До революции Зеликович примыкал к меньшевикам. Но вчера арестовали ближайшего друга отца Леву Крымского. Лева, этот веселый шумный бородач, был кристальный человек, настоящий большевик. Отец провел с ним всю молодость, и уж кто-кто, а он-то знал, что Лева в жизни ни в каких оппозициях не участвовал.

Я, разумеется, мало разбирался в том, что делалось вокруг. Но знал, что по всей стране орудуют враги народа и что если, например, перевернуть вверх ногами картинку букваря с Колонным залом Дома Союзов, то получится огромный уродливый таракан. Недремлющие вредители действовали даже здесь.

Однажды мать взяла меня к себе в "Известия", где работала тогда бухгалтером, и в лифт вместе с нами вошел щуплый рыжеватый человек в кепочке и роговых очках. Он с любопытством оглядел меня, весело потрепал по щеке и, обратившись к матери по имени и отчеству, стал расспрашивать, как она живет и не нуждается ли в помощи. Когда мы вышли из лифта, я спросил у матери, кто этот чудной очкарик. Мать ответила: "Радек, наш главный редактор". Мог ли я подумать, что спустя четверть века в том же редакционном лифте судьба столкнет меня с другим главным редактором "Известий". Холеный, излучающий шик и высокомерие, Аджубей выслушивал просьбу своего товарища по перу. Не без его, Аджубея, участия был опубликован в "Известиях" один из моих раздражающих власти материалов, и я попал в тяжелую ситуацию.

Аудиенция продолжалась ровно столько, сколько лифт шел с шестого этажа до первого. Внизу Аджубей что-то буркнул невнятное и, не попрощавшись, сел в черный "ЗИМ". Как говорят римляне: **"Tempora mutantur et nos mutamur in illis"**. — "Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними".

Рыжего очкарика я больше не видел. Когда я однажды спросил про него мать, она почему-то рассердилась и сказала, чтобы я отстал... Коля Эшельман ходил в те дни сам не свой. Его отца я тоже больше не видел. Зато Коля Романов выглядел именинником. "Папаню, —

сообщил он, — враз сделали начальником милиции Московского метрополитена".

В те дни по радио передавали репортажи из зала Верховного суда, где шли процессы. На каждом выступал генеральный прокурор Вышинский, приводивший "неопровержимые" улики чудовищной вины перед народом "презренной банды убийц и шпионов". (Вскоре после войны судьба сведет меня с Вышинским, выступившим с четырехчасовой речью в Московском юридическом институте.) На процессах "враги народа" каялись и полностью признавали свою вину. А тех, кто не признавал, не допускали даже до суда.

В пятьдесят седьмом году на закрытом партактиве радиокомитета, где я тогда работал, нас познакомили с фрагментами из переписки Эйхе и Якира с вождем. "Мой Сталин, — писал из камеры Иона Якир, — я верю, что ты ни о чем не знаешь, я верю, что ты во всем разберешься и исправишь эту чудовищную ошибку...". Якир так и не узнал резолюции, наложенной Сталиным на его наивном послании: "Мой Якир — подлец и проститутка — расстрелять!"

Более тридцати пяти лет отделяет нас уже от того времени. Не без "отеческой" помощи вождя многие из железной когорты "ежовцев", "бериевцев", "абакумовцев" отошли в мир иной. Другие давно превратились в благопристойных пенсионеров, прикрепленных к закрытым поликлиникам и распределителям за свои выдающиеся заслуги перед партией и народом.

Время от времени они выступают в печати с воспоминаниями о своем участии в борьбе с иностранными разведками, не касаясь, разумеется, тридцать седьмого года. На тридцать седьмой год давно наложено железное цензорское вето, как оно наложено и на более поздние времена, связанные с так называемым культом личности.

Не было миллионов жертв, погибших в застенках НКВД, ни лагерей, устлавших поля России трупами граждан "самой юной прекрасной страны", ни сирот, годами и десятилетиями носивших на себе клеймо детей врагов народа. Были лишь отдельные ошибки культа, давно преодоленные и не могущие бросить тень на титаническую работу партии в годы пятилеток.

Я не раз буду обращаться к событиям тех лет.

Но все это позже, а пока возвращаюсь ко времени своего детства, от которого, как сам чувствую, слишком далеко увели меня рассуждения о тридцать седьмом годе. Что поделаешь, живет этот год в людях моего поколения, как незаживающая рана, и саднит она, саднит изнутри даже таких, как я, лично не ощутивших на себе ударов судьбы.

НАРЫШКИНСКИЙ БУЛЬВАР

В нашей семье не было арестованных, хотя время это для отца и не прошло бесследно. В начале тридцать восьмого года на нервной почве он заболел сахарным диабетом. Во всем прочем жизнь постепенно входила в свою колею. Отец, начав работать в издательствах по договорам, прилично зарабатывал, и мать даже могла уйти из своей бухгалтерии, чтобы все свои силы отдавать мне.

Летом мы уезжали с ней на море в Анапу, а зимой — была школа, были футбол и кино, были игры в "красных" и "зеленых". Они проводились обычно в Сокольниках, с флажками и дымовыми шашками, и победителями выходили и те, и другие.

В кино моим любимцем теперь был не матрос Балашов, а мой бесстрашный сверстник Тимур из фильма "Тимур и его команда", а любимым вратарем — Алексей Жмельков из команды ЦДКА, а любимой кинокартиной "Если завтра война"...

У ворот 170 школы, где я учился, висел огромный плакат "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство". Такие же плакаты висели на многих школах — вероятно, теперь уже и дети научились принимать их как должное. Так писалось в книгах и газетах. Так говорили взрослые, которые во все времена имеют обыкновение приписывать себе заслуги в создании счастливой жизни своим детям. Тем более своими заслугами перед детьми гордились люди тридцатых годов, считавшие себя революционерами и созидателями новой жизни.

Помню, отец часто мне говорил, что он, когда ему было столько лет, сколько мне, уже сам зарабатывал себе на хлеб. Вывод понятен: ни у кого, никогда на свете не было такого счастливого детства, как у меня.

Между прочим, взрослые имеют еще одно обыкновение — повторяться. Однажды я услышал, как жена добродушно ворчала на нашу восьмилетнюю дочь — как-то и где-то, не помню уж как и где, дочь напроказничала, и жена говорила: "Я в твои годы уже помогала своей маме, мама болела, и я сама все делала по дому".

У дочери была во дворе подруга Женя Авцина — робкая, стеснительная девочка с обаятельным тонким личиком и глубокими синими глазами. Однажды обе они — дочь и Женя — пришли домой взбудораженные, словно не в себе. Обе сначала молчали, не зная, с чего начать. Наконец Женя не выдержала: "Тетя Алла, — сказала она жене, — а чего Анька все время по национальности дразнится? Мама мне говорит — бей за это, а как я буду бить — не знаю..."

Что переживала восьмилетняя девочка в момент этого монолога? Чувствовала ли, что у нее самое счастливое в мире детство? Но я хорошо помню, что испытал я сам, когда однажды шагал по Нарышкинскому бульвару и вдруг сзади себя услышал: "Абраша! Абрам!"

Я подумал сначала, что это относится к кому-то другому, но тут же услышал снова: "Абрамчик! Еврей!" Сзади шествовали трое моих однолеток — были они из нашей школы, — и то едва слышно, то испытывая буйное веселье, дразнили меня "по национальности".

Произошло это, кажется, осенью. За лето я вытянулся — стал длинным и сутулым. От анапского солнца стал еще чернее — и, как теперь думаю, выглядел типичным еврейским подростком. Это обстоятельство как раз не упустили из виду мои сверстники, еще вчера не удостаивавшие меня вниманием.

Когда они стали дразнить меня, я, ища поддержки, смотрел по сторонам. Прохожие шагали мимо, одни слышали и странно глядели на моих обидчиков, другие, занятые своими мыслями, вообще нас не замечали. И лишь один мужчина остановился и сердито прикрикнул: "Чего озорничаете, он идет себе, вас не трогает..."

Нам, взрослым, кажется, что мы все знаем о наших детях. Умеем их защитить. Знаем меру их счастья и меру их неприятностей.

Однажды я услышал, как одна из моих знакомых возмущалась вслух: "Безобразие, ребенка жидом обзывают, а учителя молчат, завтра же пойду к директору". Не знаю, пошла ли она на самом деле к директору, а если и пошла, то к чему привел ее поход.

Лично я о происшедшем со мной на Нарышкинском бульваре не рассказывал матери. Возможно, интуитивно чувствовал, что при всей своей любви ко мне она перед

лицом этих жестоких бульварных недоростков будет так же бессильна, как и я сам.

Не думаю, что после того случая мое детское мироощущение хоть как-то изменилось.

Светловолосый Тимур — внешне полная мне противоположность — не переставал быть моим любимцем и героем. "Если завтра война", где, как я теперь понимал, действовали главным образом русские люди, — моим любимым фильмом.

Я, как и прежде, пребывал в уверенности, что живу в самой юной прекрасной стране, но просто мне отчаянно не повезло. Ведь в любой стране появляются на свет люди, которым от природы не везет. Рождаются хромые. Рождаются дети с горбом, а я — надо же такому случиться — среди светлых курносых ребят родился черным, как вороненок, евреем. Так, или примерно так, выглядела моя детская философия, из которой проистекал единственный нехитрый вывод — чтобы меньше дразнили, надо постараться стать похожим на всех.

Однажды я час простоял у зеркала, вздернув пальцем свой закругленный книзу нос — как мало, однако, надо, чтобы стать похожим на всех. Вымученный нос стал красным, как клюква, но ничуть не изменил своей конфигурации.

Я решил, что, хоть умру, а должен научиться выговаривать букву "р", и как-то вечером, когда мать и отец ушли в театр, до изнеможения промучился у зеркала, отчаянно прижимая язык к небу, и, надо же, добился своего,и встретил родителей победным рыканием.

Я был горд, что умею добиваться своего, и хоть в этом, научившись выговаривать букву "р", приблизился к окружающему миру.

С детства я слышал о физической силе русских людей. До пояса раздетый, я, бывало, стоял у зеркала,и, выпя-

тив вперед свою детскую грудь, сочинял легенды, где героем был я сам, и мечтательно бормотал о себе в третьем лице: "Он был еврейского происхождения, но русского телосложения". А когда появились значки БГТО, что значило "Будь готов к труду и обороне", одним из первых в классе отправился сдавать норму. Трижды провалился, будучи не в силах одолеть на лыжах за пятнадцать минут положенные три километра, но в четвертый раз, обливаясь потом и падая от усталости, все-таки прошел.

В те годы я уже чувствовал себя полным энергии и активности. Я мечтал пойти на войну и был безмерно горд, когда в классе меня выбрали командиром отряда.

Отец купил мне в комиссионном магазине детский военный китель, мать нашила на рукав три широких красных полоски, а на лацкане, на крошечной цепочке, я гордо носил столь нелегко доставшийся мне значок БГТО.

Вероятно, я все это делал не так уж осмысленно, как теперь пишу. Да и вряд ли сейчас, спустя столько лет, я в состоянии восстановить логику поведения десятилетнего подростка. Лишь помню, что в результате всех своих стараний мне ни на шажок не удалось уйти от самого себя, и это обстоятельство удручало меня, даже больше, чем то, что от природы мне так не повезло.

Вот иду я по Нарышкинскому бульвару, в своем военном кительке, на лацкане этак задиристо болтается значок БГТО. Шустро гуляют по моей черняеой физиономии солнечные зайчики. И вдруг вижу шествующую мне навстречу дворовую ватагу ребят. Какое-то шестое чувство подсказывает мне, что встреча ничего хорошего не предвещает. Я по внутреннему рефлексу немедленно обретаю задиристо-воинственный вид. Руки в карманах. Походка, как у них, вразвалочку. Но это только внешне.

Внутренне я весь съеживаюсь от подступающего предчувствия. Я стараюсь на них не смотреть, как не смотрят на лающую собаку, в опасении, что она почувствует вашу боязнь, преисполнившись храбрости. Но вот, слава Богу, и прошли. Так мне, по крайней мере, кажется... И вдруг из-за спины: "Абраша! Абрамчик! Еврей!"

С каким бы наслаждением я провалился сквозь землю, но, поскольку это невозможно, я, провожаемый теми же криками, продолжаю идти дальше, испив до конца уготованную мне в этот солнечный денек чашу.

На Западе нас, выросших в Советском Союзе, почему-то очень любят допытывать, когда именно мы почувствовали себя евреями. В ответ я никогда не рассказываю об этих сценках на Нарышкинском бульваре, ибо далеко не уверен, что уже тогда во мне проснулось чувство, называемое национальным самоощущением. Встает в памяти вся картина детства, веселого и бесшабашного, каким было оно у миллионов моих сверстников. И ничуть я не изменил в те годы своим детским привязанностям, которые несли на себе печать чего угодно, но только не печать еврейства. Что же касается унизительных кличек, то пройдет несколько лет, и жизнь сама подскажет безотказное средство защиты от моих обидчиков.

Во время войны в Томске, где мы с матерью окажемся в эвакуации, мне уже недосуг будет заниматься бесплодной рефлексией — такой я или не такой, как все. В среде заводских хулиганов, в обстановке голода и оголтелого хамства, я довольно быстро усвою нехитрую житейскую формулу: "За жида бей морду".

По складу характера я никогда не был сторонником кулачного права, но это умение сохраню на многие годы. И однажды, реализовав его, уже будучи журналистом и членом КПСС, я едва не лишусь партийного билета.

В СССР ведь нет антисемитов, зато есть сионисты, к разряду которых я едва не был причислен за то, что таким "непартийным" методом пытался отстоять свое национальное достоинство.

Впрочем, детство детством, а о кличке "жид", в силу ее интернационального характера, я хотел бы сказать несколько слов. Однажды мне пришлось услышать: "Пойми, я еврей. Если ты в себе это не чувствуешь, то тебе уже ничто не поможет".

Я никогда не причислял себя к людям, которые свое ощущение еврейства готовы превратить в глухую стену, отделяющую их от других народов. Но думаю, что в жизни каждого человека — будь он русский, немец или еврей — наступает момент, когда он начинает чувствовать себя русским, немцем или евреем. Разница лишь в том, что для русского миг этот, столь блистательно описанный многими из писателей России, прекрасен.

Ребенку говорят, что он частица великого целого, и приглашают в мир себе подобных. Он гордится этим. И когда малыш во всеуслышание утверждает, что он русский, мать смотрит на него с улыбкой и спокойствием за его будущее. Но однажды на улице Горького я услышал, как лет пяти мальчуган громко спросил у державшей его за руку матери: правда ли, что он еврей. Мать ткнула его в бок: "мишигене копф" (сумасшедший, нашел, о чем кричать на улице!) .

Когда ребенку в глаза кричат "жид", ему не просто сообщают, что он еврей. Ему тем самым говорят, что он чужой тому народу, частицей которого он себя считает, среди которого родился и живет. Если хотите, ему на всю жизнь вручают формулу обвинения. И притом лишают презумпции невиновности. Его еврейство отныне предопределяет все, и с этого момента перед ним встает жестокая альтернатива — или на всю жизнь остаться

жидом, или, по возможности, перестать быть евреем, перестать быть самим собой.

ВОЙНА

Война застала нашу семью на даче в подмосковном поселке Быково. Строить дачу отец начал задолго до войны. Он вкладывал в нее массу сил, сам вместе с рабочими возил из леса стройматериалы, любовно следил за тем, как укладывается каждое бревнышко, и был безмерно горд, когда наконец на небольшом участке в тринадцать соток вырос дом с двумя террасками и мансардой с балкончиком, чем-то напоминавшим капитанский мостик на новеньком судне.

Мансарда, или, как ее называли в нашей семье, "верх", считалась персональной обителью отца. Он ночевал здесь один и более всего любил на рассвете выходить на балкончик и любоваться живописными быковскими окрестностями. Возможно, и впрямь ощущал себя капитаном этого благополучного семейного судна, созданного собственными руками.

Отец говорил, что у него лучшая дача в поселке, не считая, конечно, усадьбы Горжевского, о ком только и было известно, что в прошлом он находился на крупной работе, а в тридцать седьмом году был взят и его великолепная светло-голубая вилла постепенно приходила в упадок.

Отец вообще был увлекающимся человеком. Официальная карьера ему не удалась, да он к ней и не очень стремился после тридцать седьмого года, и вся энергия его была теперь подчинена дому. Один предмет увлече-

ния сменялся другим. Какое-то время он коллекционировал саксонский фарфор. Затем — часы редких марок. Потом почему-то увлекся чемоданами. Его знали в комиссионных магазинах и о каждой вновь поступающей новинке незамедлительно сообщали по телефону.

К тому времени мы переехали в большую комнату на Петровский бульвар. Комната была вечно заставлена редкими вещами (благо отец прекрасно зарабатывал!). Однажды он приехал на грузовике и торжественно сообщил матери, что ему посчастливилось достать личный письменный стол Левитана. Стол, исполненный в стиле "ампир", действительно был красавцем и занял едва ли не полкомнаты. Сам отец за ним никогда не сидел, не работал. Ему просто было приятно рассказывать, что в его доме стоит личный стол Левитана.

Между прочим, я в своей жизни тоже всегда чем-то увлекался, хотя никогда не собирал ни саквояжей, ни фарфора и всерьез даже не коллекционировал марки. Разве лишь амплитуды моих увлечений, часто неожиданных и фантастичных, помогают мне угадывать в себе эту отцовскую черту.

В четырнадцать лет я вдруг открыл в себе талант чтеца. Подражая у зеркала то Яхонтову, то Качалову, разрабатывал голос, готовясь к концертам в военных госпиталях. Но в один прекрасный день понял, что актером мне не быть и возмечтал научиться водить автомобиль. На "Шкоде", привезенной двоюродным братом во время войны, я перепахал все Быковские просеки. Кончилось тем, что, едва не угробив машину, так и не получил прав.

В Юридическом институте с головой ушел в комсомольскую работу, видя в ней прямой путь к политической деятельности. И едва ли не с тем же рвением постигал латынь, пребывая в уверенности, что современным

Комодовым невозможно стать, не изучив в подлиннике кодекс Юстиниана.

После института, не солоно хлебавши на юридической работе и разъезжая по клубам Подмосковья, загорелся идеей написать повесть о молоденькой культпросветчице, уехавшей из города в село, о ее мечтаниях и мытарствах. И, возможно, именно тогда впервые ощутил в себе пристрастие к литературе, желание писать. Как и у отца, мои увлечения рождались спонтанно.

Став корреспондентом Московского радио, я довольно скоро пришел к выводу, что радиожурналистика не мое амплуа, как не мое амплуа вообще писать о жизни в розовых, радужных тонах. Я вступил на рискованную стезю газетного фельетониста, полагая, что только сатира, фельетон могут по-настоящему будоражить гражданский темперамент. Целыми днями я просиживал в судах, собирал материалы, пока не потерпел после одного из фельетонов такое крушение, что едва не оказался за бортом жизни.

В тридцать восемь лет мной вдруг овладела мысль, что моя подлинная стихия — море. Весной 1967 года я ушел вместе с мурманскими рыбаками к берегам Северной Америки. Работал с матросами в трюме на Флемиш-Капе и Нью-Фаундленде. Пересек на маленьком СРТ-118 "Стриж" Саргассово море, где рыбачил хемингуэевский старик, а когда вернулся, написал обо всем увиденном роман "Аква Пура", так и не изданный до сих пор.

Можно и дальше продолжать этот каталог моих пристрастий, но в нем все равно не нашлось бы места тому, к чему я пришел сегодня.

Один знакомый мне рассказывал, что он много лет был равнодушен к идее еврейского территориализма и государству Израиль, но однажды ночью его "ударило"-

и он проснулся сионистом. Я воспринимаю это как милую шутку, ибо слишком хорошо знаю, что в жизни так не бывает.

Мне кажется, что в характере человека, как в земной коре помимо рек и речушек, омывающих ее поверхность, действуют и копятся невидимые глубинные потоки, которые рано или поздно взламывают почву и оказываются на поверхности. Вот так, наверное, и я, незримо для окружающих, невидимо для самого себя, плутая и делая зигзаги, шел к познанию собственной личности, к пониманию того непреложного факта, что в течение всей жизни я был и остаюсь евреем. Кто знает, когда начался этот путь — до войны ли, на Нарышкинском бульваре, или позже, когда я оказался в эвакуации, в Томске. Война есть война. Взрывами и бомбами она перепахала земли России. Но кому ведомо, что происходило в ее недрах, в миллионах ее людей, поставленных лицом к лицу с трагедией и ужасами войны.

... Утром 22 июня 1941 года я, во всяком случае, был далек от всех этих мыслей. В воздухе по-летнему парило. Чем точно я занимался в то утро, не помню. Отец, стоя в одних трусах, окучивал, кажется,клубнику. Он обожал копаться на участке и на этот раз так увлекся, что не сразу услышал голос матери: "Борис! — кричала она. — Скорее иди, кажется, война!"

По радио уже выступал Молотов, а отец, опустив мотыгу, непонимающе смотрел на мать. Взрослые, в отличие от детей, не верили в реальность случившегося. Они не играли в военные игры, не сдавали на значки БГТО...

От слова "война" у меня захватило дух: наконец-то! Вместе с моими дачными приятелями Борисом Бурмистровым и Ариком Андерманом мы шли от калитки к

калитке и, как сумасшедшие, горланили: "Война! Вы слышали, война!"

Будто приехал в Быково цирк шапито или через пять минут начнется солнечное затмение. В быстром исходе войны никто из нашей троицы не сомневался (да и кто тогда сомневался в этом!). Страна ворошиловских стрелков, где каждый давно уже был готов к труду и обороне, в несколько дней разобьет фашистов на их же территории...

На всю жизнь врезался в память первый день войны. Но почему-то исчез второй, третий, пятый день... Все смешалось, все полетело кубарем. Лишь помню, что радио бесконечно играло: "Пусть ярость благородная вскипает, как волна..." — единственный звук из немой, изодранной ленты, которую с трудом прокручиваю в памяти.

... Южный речной порт. На теплоходе "Михаил Калинин" мы плывем в Горький. Мы — это мать, я, жена моего дядьки тетя Люба и мой двоюродный брат Гарик, он же Чичик, как прозвали его во дворе на Большой Каланчевке, где жили они до войны. А потом — пустота. Горький — пустота. И почти двухнедельный путь от Горького до Томска — тоже пустота.

Лишь временами лента высвечивается и появляются эшелоны. Только не те грозные, парадные, что заполнили собой послевоенные фильмы, а те несчастные, с вонью, со скарбом, с полураздетыми матерями и детьми, которые не ехали — ползли на восток, гонимые ужасами войны и оккупации.

Совершенно не помню лиц наших соседей по вагону, но мне кажется, что все они были одеты по-летнему, в какие-то невообразимые пестро-клетчатые регланы, какие никогда не продавались в Москве. Из коротеньких обшарпанных рукавов у них вечно торчали красные

замерзшие руки. Говорили они не по-русски, точнее, не говорили, а перекрикивались из одного конца вагона в другой.

После войны, не помню уж в связи с чем, мать как-то заметила:"Помнишь этих шумных польских евреев? Мы вместе с ними в эвакуацию ехали".

Тогда я, конечно, не знал, что все это евреи. Думал, просто беженцы из западных областей. Но в Томске стал их недолюбливать за то, что они вечно заполняли толкучку своими заграничными обносками, рядом с которыми на наш с мамой "москвошвеевский" товар уже никто не хотел смотреть.

Московский шарикоподшипниковый завод, или просто "Шарик", где тетка работала еще до войны, обосновался близ станции Томск II в шестнадцати кирпичных корпусах бывшего военного городка. В восьми корпусах разместились цеха, а в других восьми — работники завода с семьями.

В той рваной, клочковатой ленте, которую я, впрочем без особого успеха, пытаюсь восстановить, сохранился такой кадр: на перроне измученные долгой и тяжкой дорогой люди со своим жалким домашним скарбом и среди них мы с братом, сидящие среди чемоданов и мешков. Дует пронзительный ноябрьский ветер, какие только и бывают в Сибири.

Пока мать с теткой искали подводу, брат потребовал, чтобы я уступил ему место на большом кожаном чемодане. Я, разумеется, отказался — чемодан купил отец во время своего чемоданного увлечения и, по праву собственности, сидеть на нем должен был я. Брат разревелся. Я обозвал его Чичиком несчастным и велел замолчать. Но не тут-то было. Он с ревом помчался вдоль перрона искать тетку, чтобы немедленно на меня пожаловаться. Вообще это была на редкость кляузная и плаксивая лич-

ность. Будучи моложе меня на три с лишним года, он требовал, чтобы я всегда и во всем ему уступал, что я делать решительно отказывался. Вспыхивали ссоры, он поднимал дикий рев. В такие минуты я его ненавидел, кричал ему: "Чичик! Очкарик! Чичиковская галерея!"

Разревевшись, он незамедлительно вытаскивал на свет божий мою дворовую кличку "старик", "стариковская галерея". Это с моей точки зрения было уже слишком — старшего брата он обязан был уважать и за "старика" тут же получал по физиономии.Как теперь понимаю, у меня характерец тоже был не сахар.

ТОМСК

Поселили нашу семью в проходной десятиметровой комнатенке на втором этаже. Рядом жили молодожены Драгунские: он — Еська из кузницы, она — его молодая жена и иждивенка Берта.

Еська был здоровенный верзила. Ходил руки в карманы, матерился как извозчик. Говорил не "мастер", а "майстер", не "диспетчер", а"биспетчер". На заводе, по-видимому, в знак высокого уважения его звали не Еськой, а Васькой. В отличие от него Берта была интеллигенткой, ходила в манто под котик и мужа звала Иосифом.

На одной лестничной площадке с нами жила семья Шмидтов. Тридцатилетний Толя Шмидт — зам.начальника ОТК и его жена Тося, работавшая вместе с теткой в ОТК нормировщицей. Тося в свои двадцать лет во всем подражала тетке: так же, как она, никогда не выпускала изо рта папиросы и даже говорить пыталась низким,

как у тетки, басом. Впрочем, до теткиного самообладания ей было далеко, она то и дело прибегала к нам вся в слезах из-за своего Шмидта: то запил, то видели его у проходной с какой-то фифой из ОРСа...*

В первый же вечер в городке выключили свет. Тося принесла нам коптилку и мутный флакон керосина. Шмидт сказал, что света теперь вообще не будет — цехам и без того не хватает электроэнергии.

В доме был отчаянный холод, в окна дул ветер, и едва теплившаяся коптилка поминутно гасла. Тетка легла с матерью. Меня положили с братом. Кровать была скрипучей, узенькой и лежать мы могли только боком. Чичик потребовал, чтобы я пустил его к стенке и нахально потянул на себя большую часть одеяла, за что тут же получил под зад коленкой. Но перед лицом обрушившейся прозы жизни, по-видимому, крика решил не поднимать и, поджав под себя свои тощие и не по возрасту длинные ноги, миролюбиво засопел.

С братом я теперь редко встречаюсь. Респектабельный инженер-электронщик, почтенный отец семейства... Даже странно, как мог плакса и вечный кляузник Чичик превратиться в этого мягкого, доброго человека. Томск он вспоминает с трудом. Говорит, правда, что помнит Еську Драгунского с его "майстером" и "биспетчером" и еще что-то в том же духе. И вообще, если бы не супы из крапивы, которыми никогда нельзя было насытиться, то это было не такое уж плохое время. Вот только двор там был преотвратный, одни братья Астаховы чего стоили...

— А Колобка, а "рыцаря" помнишь? — пытаюсь оживить в его памяти воспоминания.

* ОРСы — заводские отделы, снабжавшие рабочих продуктами питания во время войны.

— Нет, этих не помню. Ну что ты хочешь, сколько мне тогда было...

Дворы в России — это особая область жизни. До войны мать вообще старалась не пускать меня во двор. Чему можно там научиться? Самому плохому. Двор в "Бахрушенке" я почти не помню и даже не представляю, когда я успел обзавестись кличкой "старик". Зато помню, что в Томске дворовая компания сложилась с неимоверной быстротой и с ее нравами я познакомился сразу же после приезда.

Мать послала меня в баню. Я спокойненько разделся, взял "шайку", но не успел войти в банный зал, как замер, пораженный увиденным: пятеро ребят во главе с плотным, мускулистым отроком, загнав в угол взрослого человека, с радостным гиканьем обдавали его кипятком.

— Пали его! Пали! — кричал мускулистый.

Вскоре я разглядел лицо человека — это был Левин из отдела главного механика, ехал в Томск вместе с нами,в соседнем вагоне.Ребята так и не дали ему домыться, а я, забившись с "шайкой" в угол, предался невеселым размышлениям: если они так ведут себя с Левиным, то что же они сделают со мной.

А вскоре жизнь вплотную столкнула меня с этой компанией. Вышел я как-то из клуба после кино, и тот же мускулистый с узкими глазками — я уже знал, что его фамилия Астахов, — подозвал меня.

— Эй, еврейчик, крикнул он, — драться умеешь?

Превозмогая страх, я подошел и, стараясь не выдавать волнения, спросил, в чем дело.

— А в том, что стыкнись с Колобком. Колобок маленький, тощий, а ты вон какой дядя...

Нас тут же обступила компания астаховских дружков. Впереди стоял сам Колобок, маленький, наголо

остриженный бандюга, готовый сию же минуту исколошматить меня. Вдруг он покровительственно улыбнулся и сказал:

— Абрам, ты брынза хочешь?

И в этот момент получил от меня сильный удар в переносицу. Из носа у него хлынула кровь, он стал орать, что убьет меня, но на него уже никто не обращал внимания. Легендарная слава Колобка была похоронена раз и навсегда.

А через несколько дней уже другой, по кличке "рыцарь", из той же компании снова окликнул меня:

— Эй, еврейчик!

Я не обернулся, но из-за спины услышал деловитый голос Астахова:

— Он не еврей, он только наполовину, мать у него русская, в ОТК работает.

В первую же осень, как мы приехали, начался голод. Конечно, не такой, как в Ленинграде во время блокады. Но сколько помню себя, в те дни я всегда хотел есть, и тарелки из-под супа мы с Чичиком добела облизывали языком.

Тетка, как "цеховой персонал", получила рабочую карточку, мать, как бухгалтер, — карточку ИТР. *

В общем, на четверых получали восемьсот граммов хлеба и еще по два талона на обед. Обед обычно состоял из маленькой тарелки овсяной жижицы и крошечной хлебной галушки. За обедами ходили с Чичиком по очереди и каждый раз должны были часами выстаивать на ветру. В очередях поднимались драки. Я видел один раз, как две женщины, не поделив миски супа, вцепились друг другу в волосы и в истерике катались по лужам. Но часы стояния не всегда увенчивались успехом.

---

* ИТР — инженерно-технические работники.

Однажды на глазах всей очереди у Чичика отняли бидон с супом и вдобавок ему еще разбили очки. Другой раз он вместо двух принес одну галушку, сказав,что недодали. Вечером с ревом сознался, что съел сам, не выдержал.

После этого на семейном совете решили: Чичика за обедами больше не посылать и роль домашнего ОРСа целиком возложить на меня.

В шесть-полседьмого вечера на дворе уже было совершенно темно, и, чтобы экономить керосин, все старались пораньше укладываться спать. Под свет гаснущей коптилки я читал Чичику вслух Жюля Верна—долго он обычно не выдерживал, засыпал.

Мать с теткой тоже укладывались. Еська с Бертой ложились раньше всех — эти молодожены были ужасные сони и лежебоки. В квартире наступала тишина. Лишь со двора еще долго неслись гул и лихие куплеты.Запевал обычно Астахов или "рыцарь". Астахов-басом,"рыцарь" — тоненьким женским тенорком:

Сара разговор ведет в туннели —
Мы с тобой неглупые евреи.
Наши там не зевают,
Города занимают:
Омск, Томск, Куйбышев, Саратов и Ташкент.

В квартире стояла мертвая тишина. Где-то в углу скреблись мыши, которым был голод не в голод. Тетка с ожесточением начинала искать в темноте папиросы. Берта всхлипывала и говорила Еське, что она ужасно боится. Еська сопел, но предпочитал молчать. Если горланили громко, то просыпался Чичик и начинал свою склоку из-за одеяла — нашего вечного яблока раздора. Получив под зад пинок, он поднимал страшный рев.Вмешивалась тетка и громко, на всю квартиру, стыдила меня. Еська тоже вдруг обретал голос. Стуча к нам в стену,

он орал, чтобы дали людям спать. А с улицы еще долго доносились лихие куплеты:

Все абрамы и евреи,
Где же русские лакеи,
Врешь, еврей, от смерти не уйдешь...

Вот так начиналось мое отрочество, в гуще жизни, которая в официальной печати давно получила оценку как жизнь беспримерно мужественная, как героический тыл войны.

Возможно, оттого, что слово "героизм" в Советском Союзе уже давно переживает инфляцию, мне в голову приходят иные слова, иные ассоциации, связанные с тогдашним восприятием жизни.

В памяти сохранилась узенькая каменная лестница, всегда погруженная в темноту, с вонючими кучами мусора, вываленного на ступеньки, с крысами, шныряющими из угла в угол. В Москве на Петровском бульваре таким жутким и грязным был черный ход, куда выносили мусорные ведра и куда мать меня выставляла за особо тяжкие провинности. И примерно также выглядела в Томске лестница, по которой мы взбирались в свою полутемную конуру.

Сейчас эти детские впечатления все чаще приходят в голову. Кажется, что, очутившись за тысячи километров от фронта, я видел такие стороны войны, которые оставались скрытыми даже там, на передовой. Темная лестница с крысами и вонючими кучами мусора вырастает в некий символ, словно сама война оборачивалась с черного хода. Там, на фронте, были пули, была смерть и измены, но было и воинское братство, и стойкость, и воистину геройский подвиг. Россия как бы являла миру свой мужественный и веками воспеваемый поэтами лик. В тылу же остались голод грязь, ненависть. Все худшее,

что веками отслаивалось в характере русского человека, вывалилось на этот черный ход войны.

Я НЕМЕЦ

Все произошло в школе, и в памяти даже сохранился ее номер — Томская железнодорожная школа № 44, — двухэтажный деревянный дом, крытый ржавой толью и омываемый со всех четырех сторон черной осенней жижей. Так что и к порожку невозможно было подобраться, не вымесив метров десять по лужам.

Почему-то встреча с этой школой меня страшила больше всего. Вероятно, пугала неизвестность. Как бы там ни было, а в военном городке, где разместился "Шарик", обитали "свои", москвичи.

В школе меня ждала встреча с сибиряками, о которых я знал только, что они на своей земле хозяева и потому могут делать с такими незваными гостями, как я, все что им заблагорассудится .

В детстве я слышал о гостеприимстве и широте характера сибиряков, но то происходило в другом, почти сказочном мире, там вообще все было удивительно складно, а теперь, среди голода и ужасов эвакуации, среди окружавшей меня национальной ненависти, мне не давал покоя совершенно реальный вопрос: как я буду встречен в пятом классе сорок четвертой железнодорожной школы со своей далеко не славянской внешностью и своей далеко не русской фамилией .

От этих недобрых предчувствий я преисполнился еще большей ненавистью к немцам, уже подходившим в то время к Москве. В мечтах я взывал к помощи некоего

ангела-спасителя. Он обрушит на голову Гитлера чуму или какое-нибудь другое смертоносное средство, избавив нас с матерью от мук эвакуации, или, по крайней мере, придет мне на помощь в трудный момент моей томской жизни, поджидавшей меня в неизвестной мне сорок четвертой железнодорожной школе.

Какая удивительная ирония судьбы! Моим ангелом-спасителем, избавившим меня в школе от клички "жид" и национального унижения,явится человек по имени Александр Адольфович Кнолль, немец, выселенный властями из Поволжья в Сибирь,как представитель нации, ведущей войну с моей социалистической Родиной. И еще большая ирония в том, что я сам на время превращусь в немца. И именно благодаря этому надолго забуду кличку "жид" и обрету среди сверстников подлинно романтический ореол.

Итак, в один из слякотных осенних дней я все-таки оказался в сорок четвертой железнодорожной школе. В класс меня ввела сама директриса, седовласая, с очень живым лицом старушка, внешне чем-то похожая на старосветскую помещицу. С учениками, как скоро заметил я, она старалась держаться на дружеской ноге и, обращаясь к ним, всегда начинала со слова "друзья". За глаза ученики почему-то звали ее Сарочкой.

Меня она ввела, ласково обняв за плечи своими белыми в кружевах руками,и,подведя к доске, сказала, что я только что из Москвы, Москву каждый день бомбят немцы и она надеется, что 5"А"примет новичка достойно,с истинно сибирским гостеприимством.

Речь Сарочки была воспринята моими однокашниками сдержанно. Лениво глазея то на меня, то на директрису, они продолжали спокойно жевать серу.

Не успела директриса удалиться, а я — занять указанное мне место на предпоследней парте, как над самым

моим ухом грозно просвистела картонная пулька, пущенная из рогатки, за ней — другая...

Кто-то с неистовым упорством старался угодить мне в затылок. Я обернулся и увидел довольно колоритную троицу:в центре—беленькую,с тонкими,как два кренделька,косичками пигалицу. Воплощенное прилежание, она не сводила глаз с учительницы. Позже я узнал, что ее фамилия Бастрыгина. По обе стороны от этой "святой Магдалины", мощно работая челюстями, восседали две личности, явно не предвещавшие мне ничего хорошего. Это были наводившие на всю школу страх Репета и Дыкин. Репета с наголо обритой головой и нежным, как у девушки, лицом. Дыкин — такой же мощага, но с челкой и лицом явного головореза.

Увидев их впервые, я меньше всего предполагал, что очень скоро оба станут моими приятелями. Дыкин будет подходить ко мне на переменах и, весело хлопая по плечу, говорить: "Шпрехен зи дойч — немец? Немец — это зеер гут".

Многие из событий той осени, событий, куда более существенных, не сохранились в памяти. Многие остались лишь в виде туманных контуров, а тот первый день в школе так и живет в самых мельчайших деталях.

Помню совершенно точно: был урок географии. Географичка, голосистая и веселая толстуха, расхаживала с указкой по классу и перечисляла культуры, произрастающие в республиках Средней Азии: чай, рис, тутовое дерево, хлопок... Она говорила не хлопок, а хлопо́к, звонко, с ударением на последнем "о" и пристукивая в такт указкой.

"Камчатка", всецело поглощенная моей персоной,явно ее не слушала. Особенно неистовствовали два брата Шлыковы Оба черные, как цыганята, они корчили мне

в затылок рожицы и непрестанно издавали какие-то подозрительные шипящие звуки:

— Чив! Чив! Чив!.. Чуть жив! Жив! Жив! Жив!

По карнизу разгуливали воробьи и весело дубасили клювиками по стеклам. А я сидел, уткнувшись в атлас, и силился понять, к кому относятся эти странные звуки.

На перемене Шлыков-старший, уставившись в окно, на весь класс продекламировал: "Осень пришла, жиды налетели". Я подумал, что жидами он все-таки называет воробьев и довольно скоро обнаружил, что слово "жид" — вообще едва ли не самое распространенное среди бранных слов в 5"А".

Жидовка — географичка, влепившая Дыкину кол, жидовка — Бастрыгина, не давшая Репете промокашку. И только маленькая седовласая директриса — не жидовка, а Сарочка.

Впрочем, это открытие мало облегчало мое положение. На второй или третий день я спускался по лестнице со второго этажа и услышал голос Репеты, обращавшегося к Дыкину:

— Знал бы ты, Коль, как я ненавижу жидов. Вот этими бы руками всех прикончил.

Я обернулся: Репета смотрел на меня своими ясными, голубыми глазами и улыбался...

Другой раз, когда выходил я из школы, меня нагнал Дыкин и спросил:

— Эй, Пилерман, ты кто, жид или не жид? Снимай штаны, посмотрим.

Вот в этой веселенькой ситуации и явился мой ангел-спаситель, учитель немецкого языка Александр Адольфович Кнолль.

В тот день немецкий у нас был первым уроком. За окном было еще темно, и в нетопленом классе тускло горели две маленьких желтых лампочки.

Кнолль вошел своей обычной походкой (к слову скажу, такой же походкой вскоре начну ходить и я, подражая своему кумиру), чуть выдвинув вперед плечо и держа под мышкой тоненькую папочку. Он был типичный немец, хоть и не блондин, а брюнет — жгучий широкоплечий брюнет с голубыми глазами и плоским срубленным затылком.

Урок начался как обычно. Он открыл классный журнал и, коверкая фамилии, стал медленно читать список по алфавиту. Мою фамилию он также произнес неправильно не Перельман, а Пэрльман. Прочел по журналу и, взглянув на меня, улыбнулся:

— У вас немецкая фамилия? **Sind Sie ein Deutscher?**

Ошеломленный вопросом, я молчал. Я не знал, что отвечать. Не мог же я пасть до такой безнравственности, чтобы во всеуслышание объявить себя немцем, но не было у меня мужества в этой обстановке сказать, что я еврей...

— **Sprechen Sie Deutsch?** — словно почувствовав мое замешательство, продолжал Александр Адольфович.

— **Ja, ich spreche Deutsch.**

— **Woher sind Sie gekommen?**

— **Wo sind Sie geboren?**

О благословенная тантэ Кари! Что бы я сейчас делал, если бы не два года, проведенные в ее немецком кружке на сквере возле Большого театра.

— **Wo sind Sie geboren?** — повторяет Кнолль.

— **Ich bin in Moskau geboren,** — отвечаю я.

Ошалелый от услышанного, класс молчал. Кажется, если бы ввели живого гиппопотама, то и это не вызвало бы такой сенсации. В мгновение ока я стал центром всеобщего внимания. Объяснений Кнолля никто не слушал

— все глазели на меня, но уже совсем не так, как в день моего появления.

На перемене Дыкин извлек из сумки горбушку хлеба, отрезал ломоть и, густо намазав его салом, подал мне:

— Поправляйся, геноссе!

Он объявил, что отныне всякий, кто вздумает приставать к немцу, будет иметь дело лично с ним.

Репета похлопал меня по плечу и добавил:

— И со мной тоже.

Шлыков-младший, едва перебивавшийся у Кнолля с двойки на тройку, вдруг обнаружил страшный интерес к изучению немецкого языка. Он подходил ко мне на каждой перемене, и выспрашивал, как будет по-немецки то, как — это, и всякий раз восклицал:

— Однако ниче, любопытно!

С этого дня меня больше не звали, как раньше, Пилерманом. А поскольку кноллевское "Пэрльман" никто не мог выговорить, то с легкой руки Дыкина стали просто звать "геноссе".

Вскоре слух о появлении в 5-м классе немца облетел всю школу. Я становился популярной личностью, хотя сам нисколько не способствовал росту этой популярности. Напротив, каждый раз, когда меня назойливо выспрашивали, верно ли, что я немец, я отмахивался или, в лучшем случае, молчал, но никогда не говорил "да". Мое смущение толковалось по-своему: раз не хочет отвечать, ясное дело, — немец. А я не разубеждал. У меня, в сущности, теперь не оставалось иного выбора, как вести игру дальше...

После войны я нередко рассказывал эту историю. Происходило это чаще всего в компании, за рюмкой коньяку. И те, кто слышал ее, обычно весело смеялись:

надо ж, какой невообразимый казус, нарочно не придумаешь!

Говорил я и по-другому, особенно, когда обострялся еврейский вопрос, — "Вот ведь до чего в войну дело доходило, немцем лучше было быть, чем евреем!" Давно замечено: с возрастом трезвее становится взгляд на прошлое. Но и по прошествии многих лет осталось от той истории две загадки, к которым хочу вернуться.

Первая загадка — Кнолль. Что побудило его признать немцем типичного еврейского подростка? Сочувствие к моему тогдашнему положению? Нелепая ошибка, явившаяся для меня якорем спасения? Скорее всего, ни то, ни другое.

Помню выражение лица Кнолля, когда он стал выяснять, не немец ли я. Это была даже не радость. Это было нечто большее, которое просыпалось в нем всегда, когда он спрашивал у меня урок и пользовался случаем, чтобы поболтать со мной по-немецки о всякой всячине. Кто знает, сколько он лелеял в себе эту тайную мечту встретить соотечественника, и стоит ли удивляться, что, услышав здесь, в далекой и чужой ему Сибири, родной язык, он вдруг неоглядно поверил в то, что его мечта сбылась.

Если Кнолль — из области чистой психологии, то из какой области другая загадка, существовавшая для меня много лет, я и сам затрудняюсь сказать.

Однажды, через полгода или год после прихода в новую школу, я разговорился по душам с Дыкиным и, словно между прочим, спросил, за что он так не любит евреев.

— Как за что? — взглянул он на меня с недоумением. — Да они ж все жиды!

— А ты сам, Дыка, знаешь хоть одного еврея?

Снова удивление.

— Да хоть бы и не знал, все одно, всех их давить надо.

Так вот, другая загадка — это Дыкин и Репета, это дворовая Анька, дразнившая "по национальности" подругу моей дочери...

Тетка, считавшая себя стопроцентной марксисткой, каждый раз, когда слышала из окна "астаховские куплеты", возмущалась вслух:

— Черт знает что, это на тридцать пятом году советской власти!

А "дворовая Анька", могу добавить, — это уже пятьдесят четвертый год советской власти.

И также будет на семидесятом и восьмидесятом ее году.

Я слышал, как один районного масштаба партийный работник, изрядно выпив, философствовал:

— Ну, что я могу с собой поделать, если не люблю евреев. Только не спрашивайте меня почему. Человек не переваривает рыбу. Вы же не спрашиваете его почему. Не любит — и все. Вот так и я не люблю евреев.

Мне кажется, что мои томские однокашники Дыкин и Репета, и "дворовая Анька", и этот районного масштаба партийный работник — по сути, одно и то же явление, явление чисто русское, уходящее истоками в далекую патриархальную старину.

Евреи, как генотип, вероятно, всегда противостояли этой старине, веками остававшейся неподвижной и бесконечно чуждой динамичному космополитизму "вечного жида" Агасфера.

Канула в лету "святая Русь". Нет сегодня уж и святой ненависти к жидам, кому только ни продававшим отечества. Но пока жива привычная для России недоброжелательность к чужеземцам, будет жить и предубеждение

против евреев. "Почему я не люблю евреев? Да потому что не люблю и все!" Тут ни прибавишь, ни убавишь.

Если угодно, это область физиологии, где, как у подопытных павловских собак, условные рефлексы превращаются в безусловные, но никак не исчезают вовсе. Это сравнение можно было бы продолжить и дальше, ибо современный антисемит все чаще реагирует не на живой еврейский генотип со всеми непривлекательными чертами, которыми его обычно наделяют, а лишь на его символы — на еврейскую фамилию, на еврейское лицо, на "пятый пункт" в анкете. Да и само еврейство в его глазах все чаще выступает лишь как голая идея, воплощенная в неприятие. Но передается она из поколения в поколение, подобно тому, как наследовали россияне неприятие леших, ведьм, домовых и прочие творения темного экзальтированного ума.

КЕДРАЧ

Осенью Чичик пошел в первый класс, но это мало сказалось на его склочном характере. К приходу матери и тетки он всегда находил случай, чтобы возвести на меня напраслину — то погнал я его в самый мороз на колонку за водой и из-за этого он не успел выучить уроки, то оставил ему слишком мало места за столом и из-за этого он посадил в новую тетрадку кляксу.

Ябедничал он с ревом и при этом добавлял, что я ударил его и отшиб ему бок или что-нибудь еще. Тетка старалась все это воспринимать философски. Но случалось, что ее материнское чувство не выдерживало.

— Гарик, — вдруг повышала она тон, — я вообще запрещаю тебе с ним водиться.

Она надувалась и, обиженно пыхтя папиросой, прекращала со мной разговаривать. Продолжалось это недолго. Дела по дому, от которых у нее с матерью не было продыха, не оставляли времени для столь тонких переживаний. Тотчас после работы ей или матери нужно было бежать в очередь за хлебом — хлебные карточки не доверялись даже мне. Затем обе брались за топку печи. Угля не хватало, и в комнате вечно стоял собачий холод.

По воскресеньям обычно отправлялись на рынок. Вместо денег, которые уже давно ничего не стоили, брали оставшиеся с Москвы обноски и подолгу расхаживали между рядов с мешками картошки, с бидонами меда и масла, пытались что-то на что-то выменять. Иногда улыбалось счастье, тогда приносили домой бутылку русского масла или полведра картошки.

В пачке сохранившихся у меня фотографий детства нет ни одной, относящейся ко времени эвакуации. Не осталось и переписки тех лет, если не считать чудом выжившего письма, датированного сентябрем сорок второго года, которое я отправил отцу в Свердловск (он выехал туда вместе со своим издательством музейной и краеведческой работы в октябре сорок первого года).

На двух пожелтевших страничках, вырванных из тетрадки "в три косых", я неустоявшимся детским почерком, по-детски подробно описываю все наши томские новости — что "погода в Сибири стоит далеко не постоянная — то сорокаградусная жара, а то ветры с дождями", что занятия, как и в прошлом году, на месяц откладываются и поэтому у меня теперь много свободного времени, которое я использую для того, чтобы хоть как-то помочь маме. Я уже научился штопать и перештопал семь пар чулок. Кроме этого понемногу читаю учебники, чтобы шестой класс, как и пятый, окончить с

похвальной грамотой. "Сейчас, — писал я, — когда все народы мира охвачены смертельной борьбой с фашизмом — этим раком всего человечества, для школьников особенно важно учиться на хорошо и отлично".

Насколько были далеки эти правильные, книжные строки от моей реальной жизни! Верно, срабатывала детская психология, согласно которой в письмах не полагалось огорчать родителей.

Не мог же я написать отцу, которому было и без того тяжело одному, да еще с его сахарным диабетом, что еврейских ребят в Томске зовут жидами, а меня не дразнят только потому, что по ошибке считают не евреем, а немцем, что почти каждый день мы ссоримся и деремся с Чичиком и что на обед едим щи из крапивы и только по воскресеньям мать с теткой потчуют нас жидкой мучной баландой, замешанной на воде, и жарят оладьи из картофельных очисток.

Кесарю — кесарево, а родителям — родительское... В письмах к отцу я с увлечением рисовал образ пай-мальчика, примерного пионера, денно и нощно помогающего маме и любимой родине. Но в тайниках души этого пай-мальчика, с раннего детства несшего груз еврейства, кипели невидимые бури. Оттого, что никто ему не мог объяснить, почему даже сейчас, во время кровавой борьбы с немецким фашизмом — этим "раком человечества", его любимая родина была разделена на русских и жидов и, чтобы не быть жидом, он вынужден был пойти на нечеловеческое унижение и называться немцем.

Разумеется, это — логика взрослого человека и подросток двенадцати-тринадцати лет вряд ли мог рассуждать именно так. Я лишь пытаюсь понять тогдашнее свое настроение — почему с такой неукротимой жаждой стремился стать другим, ну, например, таким, как Дыкин и Репета, с такими же, как у них, плечами и мускулами.

Я приходил из школы домой и, бросив в угол ранец, так же, как когда-то до войны, подолгу глазел на себя в зеркало, на свою щуплую, сутулую фигуру. Я распрямлял плечи, выпячивал грудь и в эти минуты особенно остро чувствовал, что мне никогда не стать таким, как Дыкин и Репета, чтобы шел я по улицам и томская шпана приходила в трепет от одного моего вида. В такие минуты я презирал и ненавидел себя. Но от всего этого еще сильнее становилась жажда вырваться из своей проклятой оболочки, будившей лишь желание дразнить меня жидом, и я бессознательно искал для этого пути.

Однажды я увидел у Дыкина финку и вскоре такую же выменял себе на заводе за краюху хлеба. Когда мать обнаружила ее у меня в кармане, то устроила страшный скандал, кричала, что я стал бандитом, шпаной и что она обо всем напишет отцу.Отцу она не написала,а я для себя решил,что нож в кармане брюк носить рискованно — надо припрятать его куда-нибудь подальше.

Но это были еще цветочки — ягодки начались позже: в один из летних дней я объявил матери, что завтра на рассвете отправляюсь в кедрач.

К тому времени мать уже стала привыкать к моим сюрпризам. Незадолго до того, как она обнаружила финку, меня приволокли домой с перебитой челюстью — я схватился еще с одним "гавриком" из астаховской компании и на этот раз сильно пострадал.

Другой раз по собственной инициативе проник на дровяной склад, выломав в его стене несколько горбылей, и натаскал полную кухню березовых поленьев. Когда мать пришла с завода и обнаружила ворованные дрова, она чуть не сошла с ума от страха. Она была уверена, что за мной вот-вот придет милиция и на несколько лет меня посадят за решетку. Но с кедрачом ни финка, ни кража дров не шли ни в какое сравнение.

Мать видела, кто обычно торгует на рынке кедровыми орехами, а с весны — вареными кедровыми шишками. Это был промысел коренных сибиряков. Они шли за двадцать-тридцать верст от города, притом обязательно в ночь, когда засыпали объездчики и можно было тайком пробираться в чащу и,не рискуя попасть к ним в лапы, взбираться на кедры, ломать ветви с неспелыми шишками.

Ходили слухи, что объездчикам, дабы сохранить кедрачи, дан приказ без предупреждения стрелять по лесным браконьерам. Зато на рынках этот товар шел нарасхват — орехи по 15-20 рублей за стакан, шишки по 5-7 рублей за пару.Мешок шишек — и тысяча-тысяча двести рублей в кармане — ровно столько, сколько мать и тетка вместе зарабатывали за месяц.

У меня в письменном столе и по сей день лежит недописанный рассказ, материалом для которого послужил мой первый поход в кедрач. Почти все в рассказе взято из жизни.

Вот выходит из ворот военного городка странного вида компания. Одеты кто во что — кто в заводскую спецовку, кто в ватный тулупчик, а кто в такую рвань, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Шествует в этой заводской компании и мой герой, мой тринадцатилетний сверстник Кирилл Патрикеев.Как у каждого, у него за плечами—мешок,за поясом—нож,в руках—палка.

В таком, или примерно таком виде, и мы вышли из городка на шпалы местной однопутки и отправились в дорогу — кроме меня человек десять из кузницы, остальные — со сборки.

За главного был Резников Володька. Про него говорили, что он единственный знает кратчайшую дорогу до Ивановского кедрача, а насчитывала эта идущая полями

и бродом через Томь кратчайшая дорога что-то около километров двадцати-двадцати пяти.

Я был в этой экспедиции младший, единственный школьник и, насколько помню, единственный еврей. Испытывал я двойственное чувство — с одной стороны, был непомерно горд, что решился на такое предприятие, от него даже Астахов с "рыцарем" отказались, с другой — точила меня тайная боязнь, как бы не подстроила мне судьба-индейка что-нибудь непредвиденное. Ведь наверняка ни у кого из моих компаньонов в пять лет не прилипал язык к турнику, никто в детстве не повисал так глупо на стропах парашюта, никто так по-дурацки не напарывался на гвоздь и не попадал из-за этого на целый месяц в больницу. И если суждено мне быть неудачником, где гарантии, что судьба на этот раз смилостивится надо мной. И все же когда к ночи мы вошли в чащу, то я не думал, что, час спустя, буду стоять под кедром с рассеченным виском, безуспешно пытаясь остановить кровь носовым платком.

Шишки сбивали по двое. Был я в паре с каким-то длинноногим из сборочного цеха. Он очень долго взбирался на кедр и, прежде чем приступить к делу, не прекращая, орал мне сверху, что у него не кедр, а пустой номер — не видать ни единой шишечки. Он-то, этот несчастный слюнтяй и трус, и угодил мне в висок. Но это произошло позже, потому что первым на кедр полез я, и, когда я добрался до макушки, вдруг ощутил такой страх, какого и на миг не мог представить, когда упрашивал Резникова взять меня с собой.

Вниз я смотреть не решался. Земля с длинноногим осталась где-то очень далеко, в глубокой пропасти. Кругом была темнота и ветер. Я стоял, обхватив одной рукой макушку кедра, а другой, вытянув ее во всю длину, ломал ветки с мощными гроздями тяжелых смолис-

тых шишек. Когда дул ветер, я раскачивался вместе с макушкой. Казалось, что под тяжестью моего тела она вот-вот треснет и я рухну в ночную бездну.

И все же, как это было ни тяжело, я старался бросать шишки в одну сторону, чтобы в лесном травостое легче их было подбирать напарнику. Это правило, о котором еще перед тем, как вошли в кедрач, предупреждал Резников, и нарушил длинноногий. Почувствовав страх, он стал ломать ветки, без разбора бросая их то вправо, то влево от себя и заставляя меня, как гончую, метаться из стороны в сторону, пока не угодил он мне в висок тяжелой смоленой бомбой.

Резников достал из сапога портянку и перетянул мне голову. Но все же скоро, когда, взвалив мешки на плечи, шли домой, я почувствовал слабость. К тому же мучил голод. Ломоть хлеба с двумя вареными картофелинами, которые дала мать,были давно уничтожены.И я готов был отдать полжизни за то, чтобы раздобыть что-нибудь съестное. Ноги стали ватными и словно чужими. А Резников орал и матерился, чтобы не мешкали, — в любую минуту могли нагнать объездчики. Увидев, что я валюсь с ног, он посмотрел на меня с такой ненавистью, что я подумал: вот-вот съездит по физиономии, но он, выругавшись десятиэтажным матом, взвалил на себя мой мешок, а меня взял под руку, и теперь мы шли с ним рядом, вернее, шел он, а я плелся, с трудом передвигая свои ватные, обессилевшие ноги.

Когда вышли на шпалы и до городка оставалось метров восемьсот, я сказал Резникову, чтобы дальше меня не тащил, как-нибудь доползу сам. Он молча отдал мне мешок, и я, обессиленный, свалился на шпалы. Все, что произошло дальше, было как во сне. Я и сейчас не могу себе объяснить, как, потеряв сознание, я умудрился

услышать шум приближающегося поезда и усилием воли заставить себя скатиться с насыпи.

Колеса над самым ухом давили мешок с шишками, они издавали страшный скрежет и хруст, а я слабым движением рук пытался ощупать свое тело — в беспамятстве мне вдруг показалось, что вагоны давят не шишки, а мои собственные кости.

На утро мать рассказала, как на рассвете подобрала меня у насыпи. Всю ночь меня искала, металась по городку, пока какое-то шестое чувство не подсказало ей, что искать надо на шпалах. По ним и шла, пока не наткнулась на раздавленный колесами мешок с превратившимися в мусор шишками.

Мать говорила, что в беспамятстве я плакал, просил у нее прощения и клялся, что ни за какие миллионы не попрусь больше в кедрач. Утром я ничего подобного уже не помнил. Придя в себя, деловито осведомился, сколько осталось непопорченных шишек. Мать ответила, что мало, всего с десяток или вроде того. Я велел их сварить и, корчась от головной боли, крепко себя выругал за то, что по дурости не спас мешок — чего стоило выхватить его перед паровозом и скатиться с насыпи вместе с ним.

Дня через три голова зажила, и через месяц я снова отправился в кедрач. Теперь был умнее: во-первых, захватил с собой больше провизии, тайком от матери откладывал после каждой еды хлеб и накопил так граммов триста-четыреста, а во-вторых, еще по дороге выбрал себе подходящего напарника, так что набили мы на двоих шишек триста-четыреста одна другой крупнее.

В огромном чане для белья мать эти шишки сварила, и, отправившись в воскресенье утром на толкучку, я к полудню уже наторговал на тысячу рублей. Тысяча

эта у меня была строго распланирована — на пятьсот я намеревался купить меду, на триста — картофеля, двести — оставить на карманные расходы, но судьба и на этот раз распорядилась по-своему, подстроив мне капкан в таком месте, где я никак не ожидал.

Сколько раз я видел на рынке ловко орудующих карточных шулеров и всегда обходил их сторонкой. А в это воскресенье то ли сбил с панталыку полный карман кредиток или просто заело любопытство узнать, как плывут к людям шальные деньги, — в общем, подошел к одной из картежных компаний.

В центре кружка лихо орудовал банкомет, готовый с любым и каждым сыграть в "три листика". Все просто: покажет с ладони "три листика", то есть короля и даму с валетом. Метнет их картинками книзу — и кажется, яснее ясного, где какая из карт...

Позади меня стояли трое, и каждому выпадало счастье. Но банкомет и не думал унывать, проигрыши будто вселяли в него азарт:

— А ну, молодой человек, попробуем! — весело подмигнул он мне. — Полсотни — не деньги, а подсекешь вальта — тысячу возьмешь.

Вот тут и вмешалась судьба-злодейка, находившаяся со мной в вечном разладе. Вначале, поставив полсотни, я вместо валета вытянул даму. Банкомет сделал вид, что хочет с выигрышем уйти, но стоявшая позади троица "счастливчиков" не пустила его. "Отыграться! Отыграться!" — сочувствуя мне, шумели они. Я сделал еще одну ставку и снова ошибся. Затем поставил еще пятьдесят рублей и еще. За каких-нибудь четверть часа спустил все богатство, доставшееся мне таким потом и кровью.

Я шел домой и едва не плакал, но мать так ничего и не узнала о случившемся — было ужасно стыдно, и я сказал, что деньги просто украли. А про себя решил, что

всем смертям назло пойду в кедрач в третий раз и заработаю эту проклятую тысячу. Но в третий поход так и не собрался. До городка дошли слухи, что лесничество усилило наряды объездчиков и что в Ивановском кедраче, куда мы приладились ходить, насмерть забили двух браконьеров. По этому поводу решили временно переждать, а там подошло первое октября, начались занятия, теперь уже в седьмом классе, и кедровая эпопея отошла, так и не принеся мне за мои каторжные труды ни рубля дохода.

МОЙ ДВОЙНИК КИРИЛЛ ПАТРИКЕЕВ

Однако вернусь к недописанному рассказу, где действует мой тринадцатилетний сверстник Кирилл Патрикеев, как и я, обласканный довоенной московской жизнью и волей судьбы оказавшийся в эвакуации в Сибири.

В непривычной среде, в нищете и голоде он решается на отчаянное предприятие — идти вместе с местными браконьерами в кедрач и, продав на базаре шишки, отдать деньги матери. Словом, все как у меня — и такой же страх, когда он подбирался к макушке кедра, и ватные, ослабевшие ноги, и даже ночной поезд, раздавивший на шпалах мешок — последняя деталь этой пережитой мной когда-то истории.

Я брался за рассказ не однажды, но всякий раз, когда ставил точку, испытывал чувство неудовлетворенности. Мой Кирилл, идущий на отчаянный шаг, чтобы помочь матери, на бумаге почему-то получался не таким, каким хотелось его видеть.

Было в нем что-то неестественное и даже сусальное, будто звучала в повествовании неуловимо фальшивая нота, и, сколько я ни старался, от нее не удавалось избавиться.

Лишь теперь, когда перебираю в памяти живой материал тех лет, начинаю понимать, что фальшь была заложена в самой внутренней мотивировке рассказа, где произошла неправомерная подмена персонажей.

Тринадцатилетний подросток Кирилл Патрикеев и тринадцатилетний я — совсем не одно и то же. Трезво размышляя, я далеко не уверен, что если бы и существовал в действительности такой слабосильный, неприспособленный к жизни Кирилл Патрикеев, единственный и избалованный ребенок своих родителей, то он вряд ли вот так, без всяких колебаний решился бы идти в кедрач, рискуя сломать голову.

И дело тут не в том, что один оказался более храбрым или более отчаянным, чем другой, а в том единственном, проливающем свет факте, что один был еврей, тогда как другой им не был. Именно мое еврейство делало меня таким, каким себя помню в Томске. В ответ на национальные унижения рождалась защитная реакция. Если вокруг я только и слышал, что все евреи — трусы, слабосильные, не только воевать, но и драться путем не умеют, то чем же я мог доказать обратное? Доказать раньше всего самому себе. Вот и заимел в кармане нож. И дошел до такой дерзости, что под носом у заводской охраны проник на дровяной склад. И кедрач был из той же области... — по-своему, по-детски, я утверждал себя и свое национальное достоинство.

То, что в школе меня превратили в немца, делало мою реакцию лишь более острой.

С детства я жаждал стать похожим на миллионы моих русских сверстников. Так же, как они, бегать на лы-

жах и как они не картавить, а по-русски твердо выговаривать букву "р". Теперь все чаще думаю, что подсознательно жила во мне жажда иного рода. Сам того не подозревая, хотел я стать не просто похожим на других, а сильнее, мужественнее, умнее, чем другие.

Я всегда с презрением относился к первым ученикам с их идеально-белыми воротничками на халатах и идеально-чистыми промокашками в тетрадках. Может быть, оттого, что у меня самого тетрадки вечно были усажены кляксами, а может, просто в силу своей несобранной и неорганизованной натуры, я недолюбливал этих чистюль. Но в Томске, среди дыкиных и шлыковых, едва перебивающихся с двойки на тройки, вдруг стал лезть из шкуры вон, чтобы появилась моя фамилия на доске "Лучшие из лучших".

Конечно, они могли называть меня жидом и превратить себе на потеху в немца, но, когда в класс входил наш учитель физики Багай и начинал у одного за другим спрашивать второй закон Ньютона, наступал мой час. Посрамленные за свое невежество, они обычно хватали колы и с завистью глазели на меня, когда Багай, переспросив всех, ударял огромной ладонью по столу и восклицал: "А ну, Перельман?" И, услышав именно тот ответ, которого ждал, ставил мне пятерку.

В декабре сорок третьего года одним из первых в школе я вступил в комсомол. Наша комсомольская организация насчитывала всего четыре человека. Были в ней кроме меня Олег Левин, сын того Левина, которого на моих глазах шпарили кипятком Астахов и компания, Борис Татарка, маленький, большеголовый пузан, тоже с "Шарика", прочно завоевавший звание первого ученика в классе, и наша старшая пионервожатая, она же учительница истории, Антонина Ивановна Товстоног. В Антонину Ивановну — ей было всего двадцать два го-

да, и в школе ее звали просто Тоней — я был тайно влюблен. Мне казалось, что и она, всегда улыбающаяся мне своими голубыми, искрящимися глазами, отвечала взаимностью.

И это тоже вселяло в меня гордость. Ведь не полюбила же она однорукого военрука Терещенко, хотя он на каждом шагу оказывал ей знаки внимания, а полюбила меня, черного, сутулого и вечно взъерошенного, как вороненок.

Разумеется, я не мог пойти с Тоней в кино или театр, как Терещенко, но я был на седьмом небе, когда она выдвинула мою кандидатуру в секретари комсомольской организации.

В школе, где кроме Левина я был единственный еврей, мне доверили стать комсомольским вожаком.

С первых же дней я развил бурную деятельность, создал художественную агитбригаду в составе Тони, меня и Левина. В зимние каникулы бригада выехала на станцию Тайга, чтобы выступить в одном из самых крупных в Сибири госпиталей. Левин читал какой-то очень смешной рассказ Зощенко, а я — стихотворение Симонова "Убей его". Я вышел на сцену, необыкновенно гордый своей миссией комсомольского секретаря и руководителя агитбригады. Мой голос звенел на весь зал: "Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты, в люльке качаясь, плыл..."

Мне казалось, что, слушая меня, зал замер. Не знаю, как это выглядело со стороны, но в жизни я еще не испытывал такого волнения, как в тот вечер. Дали бы в руки винтовку и, не раздумывая, сам бы прямо с этой сцены пошел на фронт убивать немцев.

Я снова утверждал себя, но уже не так, как там, в кедраче, рядом с Резниковым и его заводскими дружка-

ми. Я утверждал себя как личность, на которую Родина в свой трудный час возложила очень ответственное дело — выступать перед ранеными в госпитале.

Каково же было мое огорчение, когда в прочитанном со сцены списке участников концерта, награжденных почетной грамотой, где был даже Левин с его зощенковской юмореской, я не услышал своей фамилии. Почему обо мне забыли? Кто-то из устроителей концерта сказал Тоне, что я уж очень пыжился и перестарался.

Вполне вероятно, что со стороны картина и впрямь выглядела нелепой. Стоит на подмостках нескладный со встрепанными волосами отрок и, грозно насупив брови, призывает раненых нещадно убивать немцев. А возможно, с точки зрения устроителей вечера, этот сутулый, чернявый отрок не так хорошо прочитал. Ну а то, что творилось у него на душе, когда звал он убивать врага, — это вряд ли кого могло занимать.

Шел сорок четвертый год, и в этом госпитале на станции Тайга, куда везли и везли раненых, были дела поважнее.

Позже, за давностью лет, история эта вообще стала забываться. Мало ли было случаев, когда я не находил своей фамилии в списках, где по всем правилам справедливости ей полагалось быть.

ВЕСНА В БЫКОВЕ

Летом 1944 года мы с матерью вернулись в Москву, и я снова стал ходить в 170-ю школу в Петровском переулке. В мае сорок пятого кончилась война, а в июле мне исполнилось шестнадцать лет.

Время писать о прекраснейшей поре жизни, но вот вопрос: какими на нее глядеть глазами? Слишком велика амплитуда колебаний между моими тогдашними и сегодняшними оценками, да и какими словами говорить о жизни, в которую некогда был влюблен со всей пылкостью души и на которой сегодня, как это ни странно, вынужден поставить крест.

Павлов подразделял людей на "мыслителей" и "художников". Мне кажется, моя собственная личность — лучшее доказательство условности этого деления. Было время, когда я мог жить мечтой, и душа, как у юного Жана Кристофа, способна была ослепить разум. Но шли годы, и под натиском другой уже жизни, той самой, о которой пишу эту книгу, художник стал сдавать позиции безжалостному рационалисту. Бессмыслен вопрос, кому отдать предпочтение. Не научившись мечтать, человек не способен научиться думать.

Несколько лет назад отец, уже будучи старым и тяжело больным человеком, продал нашу быковскую дачу. Перешла она к ловкому и небезденежному хозяйственнику, который по-своему распорядился домом и нашим чудесным запущенным участком. Ситуация почти та же, что и в чеховском "Вишневом саде", да только я, в отличие от чеховских героев, не испытывал ни малейшей грусти, расставаясь с Быковом. Слишком многое изменилось с того первого послевоенного лета сорок пятого года, когда, вернувшись из эвакуации, я снова очутился на своей даче.

Что именно изменилось, вот так просто и не скажешь. Был я в гостях у давних быковских приятелей, шел по голым, облысевшим просекам, где не осталось и кустика малины — одни сорняки да плевел вдоль дорожных обочин. Без конца меня обгоняли машины, обдавая клубами пыли. За оградами гремели транзис-

торы, и от царящей вокруг суеты веяло не чарующими прелестями Подмосковья, а лишь усталой пресыщенностью. И было бесконечно грустно оттого, что никогда уже в мою жизнь не вернется то первое послевоенное лето. Нынче плевел да пресыщенность, а тогда хлебные карточки и голод. Голод не только по хлебу — по жизни, которая столь надолго была прервана войной.

Первый, кого я увидел, был довоенный мой приятель Борька Бурмистров. Мыкался он, как и я, с матерью в эвакуации — точно не помню где: то ли на Урале, то ли в Ташкенте — и, как и я,по-видимому, почувствовал — все мы тогда почувствовали! — что жизнь не такая уж плохая штука. Кроме голода, ненависти и грязи было в ней кое-что, ради чего стоило жить.

Мне казалось, что даже природа в ту весну просыпалась с каким-то особенным благоуханием, как и полагалось ей проснуться после долгой и тягостной спячки войны. Мы мчались на велосипедах по просекам и невольно прислушивались к редким голосам людей, доносившимся из-за оград. Однажды на углу Вялковской и Комсомольской услышали патефон. Звуки доносились из маленькой шестигранной беседки, обвитой зеленым плющом.

Мы поставили у забора велосипеды, Бурмистров улыбнулся и выразительно вскинул вверх указательный палец: мол, что бы это могло значить. Мы припали лбами к штакетнику и, набравшись храбрости, отворили калитку.

Через минуту очутились в беседке. Под ритмы модной в то лето песенки английского солдата "Прощай, и друга не забудь..." две девочки в туфельках на высоких каблуках танцевали фокстрот. Мне казалось, что до войны я видел их и даже играли мы на Вялковской улице в штандр. Затем появились их подруги. Одну я знал

наверняка и даже помнил имя — Рита. У нее были крупные губы и дивные бархатные глаза. "Еврейка!" — подумал я про себя. Девочки стали учить нас с Бурмистровым танцевать. Рита, нежно взяв меня за руки, вела за собой, а я, напыжившись, точно выполнял титаническую работу, бездарно шаркал по дощатому полу башмаками и улыбался все той же счастливой улыбкой.

В то лето знакомились молниеносно. Даже в воздухе было нечто такое, что как магнитом притягивало нас друг к другу, мальчиков и девочек, повзрослевших за годы войны. Танцуя мы стеснялись приблизиться друг к другу, в чем-то мы были страшно несовременны, но в чем-то отчаянно смелы. Правда, за эту смелость иным пришлось дорого поплатиться, но это произошло позже, когда средь первых послевоенных всходов появились полынь да плевел.

Сейчас уже не припомнить, как я попал на дачу Крыловых, очутившись в компании двух очаровательных сестричек Эли и Нели, с которыми стал приятелем на многие годы. И сейчас перед глазами их уютная зеленая дачка с застекленной верандой, с гостеприимной и всегда улыбающейся нам мамой и двумя синеглазыми девочками-близнецами, настолько одинаковыми, что я долго не мог научиться различать, которая из них Неля, а которая Эля.

Обе излучали нежность и обаяние, у обеих были пышные золотые волосы и даже грассировали одинаково — не то чтобы не выговаривали букву "р", а произносили ее мягко, с какой-то особой нежностью.

Я пишу о них столь восторженно, ничуть не боясь отступить от правды. Хочу представить их такими, какими видел, передать ту обстановку немого обожания, которая царила в те летние вечера на участке Крыловых. И тех, кто сюда приходил, я тоже великолепно помню —

и по именам, и по фамилиям. Настолько сильным было потрясение, связанное с этой дачей, что ничего невозможно упустить.

Эля и Неля — наши обожаемые лауры — с газовыми шальками на плечах сидели в старинных плетеных качалках (даже качалки, казалось, из сказок), а у их ног расположились их верные рыцари Жарков и Сендах и читали стихи.

Трудно было представить более разных людей. Жарков — большеголовый, светлолицый русак, настолько живой и веселый, что пребывать в спокойствии для него вообще было невозможно.

Его дамой сердца была Неля. Он сидел обычно у ее ног, обняв собственные колени, и, раскачивая старинную качалку, читал Маяковского и Асеева. Иногда вдруг запевал какие-то невероятные частушки. И без конца смеялся, вскинув вверх голову. Смех у Жаркова был неподражаемый. Он взрывался, падая на спину, и, раскачиваясь как ванька-встанька, хохотал весь — грудью, животом и даже подскакивающими вверх ногами.

Сендах, кажется, вообще не умел смеяться. У него были вьющиеся волосы и большие, с мрачным блеском глаза. Он читал лежа на спине, подложив под голову тонкие волосатые руки и уставившись в вечернее быковское небо. Читал он свои стихи, Пастернака, Ахматову...

Я помню его горящие, устремленные к небу глаза и его мрачный торжественный голос: "Все расхищено, предано, продано, все голодной тоской изголодано..."

Дамой его сердца тоже была Неля. Когда он кончал читать, она восторженно хлопала в ладоши, а он приподнимался и целовал ей руку. Мне казалось, что Сендах недолюбливает Жаркова, а Неля любила их обоих, правда, за разное. Она говорила:

— Жаркова люблю за смех, а Сендаха — за стихи.

Был еще в этой компании Алик Генкин. Как и я, он был представителем младшего поколения салона. И, наверное, поэтому мы не подпускались к качалкам королев. Мы сидели обычно в стороне и слушали, о чем вещали рыцари. Впрочем, Генкину иногда все-таки предоставлялось слово. Генкин был прирожденный математик.Когда он говорил,то глубокомысленно прикладывал палец к виску и непрестанно ссылался на Декарта и Эйнштейна.

Речь его была обычно очень заумна, особенно когда он обрушивался в своих гневных филиппиках против рифм и размеров, утверждая, что ямб и хорей с точки зрения математической логики — это нонсенс и он не желает тратить время на доказательство этого очевидного положения и вообще завтрашний день принадлежит математикам, способным оперировать не побрякушками слов, а возведенными в абсолют абстракциями.

Предметом поклонения Генкина была Эля. Во время его "откровений" она непонимающе хлопала глазами. Зато Сендах, не отрывая от земли головы, без тени улыбки на лице говорил:

— Так их, Генкин, чистоплюев, так их!

Неля, напротив, вдруг начинала защищать Генкина. Она говорила, что его точка зрения тоже имеет право на жизнь. Но всех прерывал Жарков. Своим тонким тенорком он вдруг запевал: "Кабы были все, как вы, ротозеи, чтоб осталось от Москвы, от Расеи..."

Иногда к Крыловым заходил друг Генкина Летинский — огромный, коротко остриженный великан с большим лбом и большими навыкате глазами. Летинский учился в студии Еврейского театра и где-то еще подраба-

тывал. Позже, когда студию закрыли, целыми днями пропадал без копейки в кармане у Генкина на даче. В гостях у Крыловых почти всегда молчал, но однажды под общим нажимом прочел что-то Шолома-Алейхема и с тех пор уже довольно часто выступал со своим репертуаром.

В этой компании я был моложе всех, и по обыкновению, помалкивал. Я просто-напросто терялся в таком окружении и, хотя мне было страшно досадно, что рядом с этими прекрасными людьми выгляжу таким темным и неотесанным, меня охватывало в те летние вечера чувство безотчетной радости.

Конечно, в жизни мне не очень повезло — за мое еврейство меня унижали, пинали из стороны в сторону, едва не превратили в нациста, но теперь этому, слава Богу, конец.

Я лежал, растянувшись на траве, и слушал Сендаха. Где-то на заборе мяукал крыловский котенок. На небе горела Большая Медведица. И мне казалось, что я открываю для себя новую жизнь, рядом с которой ничтожным и диким было все, чем я жил в Томске. Это ничтожное и дикое никогда не вернется снова, и в моей будущей жизни, прекрасной и светлой, как эта ночь, не будет бомбежек, не будет ненависти и унижений, не будет русских и жидов, а будет такая любовь между всеми, какая царила между людьми на даче сестричек Крыловых.

Мог ли я предвидеть, что, спустя несколько лет,именно на этой поэтической даче, именно в этой прекрасной компании разорвется такой силы "фугаска", которая заставит меня другими глазами взглянуть на многое, о чем я думал в эти летние вечера.

Но, повторяю, это произойдет позже, когда в России уже не будет таких весен, какую пережил я в мае 45 года, и сама Россия не будет уже такой гордой и счастли-

вой, какой вышла из войны, да и наше выросшее из войны поколение, последнее поколение романтиков, кое в чем уже утратит невинность мнения.

НАШ НЕЗАБВЕННЫЙ ОРС

Возраст измеряется годами. Зрелость — пережитыми событиями, но в общем все зависит от человека. Сколько страданий выпало на долю сталинских узников, но среди реабилитированных я встречал глубоких стариков с инфантильным сознанием шестнадцатилетних. Возвращаясь после долгих лет каторги, они писали в газеты благодарные письма за то,что им была предоставлена возможность прожить такую прекрасную жизнь. В газетах их называли вечно молодыми борцами за коммунизм.

Мне не пришлось изведать тюрьмы, но в 1947 году я уже во многом был не тот, что в 45-м, а в 52-м — не тот, что в 47-м.   В жизни у меня была лакмусовая бумажка, помогавшая мне лучше узнавать и себя,и других. Таким индикатором становились мои старые знакомые — одни и те же люди, но встреченные в разные годы жизни.

Я стоял со своим бывшим однокашником или сослуживцем на улице, и, глядя на его изменившееся лицо, задавал себе тривиальнейший вопрос: а насколько изменился и постарел я сам? Но в нарушение всякой логики получал ответ из совершенно другой области, каким он и я были в юности.

Кто знает, возможно, во время таких встреч как раз и замыкались в моих полушариях клеммы между первой и второй сигнальными системами и "мыслитель"

своим рациональным умом переоценивал ценности, добытые эмоциями "художника".

Кручу ленту памяти и сетую, что временами стопорится она. Мелькают одни и те же лица и события. Но нет, просто мозг, как опытный рентгенолог, делает на ленте не один, а два, три и более снимков, чтобы, совместив их, помочь мне лучше понять прошлое.

Однажды шли мы с приятелем мимо здания Министерства иностранных дел, и в ту минуту, когда поравнялись с главным подъездом, возле него остановилась черная "Волга". Из нее не спеша вышел высокий, хорошо сложенный человек в дипломатической форме (годы едва тронули его атлетическую фигуру). Я узнал своего однокашника по 170-й школе Игоря Паленыха. Кивнул ему, но он, погруженный в дела службы, не заметил меня. В связи с чем приятель не упустил случая сострить: "Имеет инструкцию с иностранцами не здороваться".

Я уже не первый раз встречаю Паленыха. Жизнь словно специально подчеркивает, как разошлись наши пути-дороги после окончания школы. Последний раз мы, правда, виделись давно, в году 52-м или 53-м. В то время я уже окончил институт, но, не получив работы, с неимоверным трудом устроился бухгалтером-ревизором в областном управлении полиграфии.

В мои обязанности входило ездить по области и проверять, не допускают ли районные газеты отклонений в расходовании средств, отпускаемых областью. Так вот, вернувшись однажды чертовски усталым из района, я встретил Паленыха у ворот Сандуновских бань. Он выходил из бань высшего разряда и страшно обрадовался, увидев меня:

— Откуда, старина, да еще в таком затрапезном виде?

— Из Уваровки, — ответил я, — не приходилось бывать?

— Честно, не приходилось, — добродушно улыбался Паленых. — Я, между прочим, тоже только с дороги. Два месяца торчал в Лиссабоне, надоело зверски. Пойду-ка, думаю, в русскую баньку, попарюсь с веничком...

Он говорил обычные вещи, был очень доброжелателен, но я почувствовал, какая между нами пропасть. И оттого что это был наш Игорь Паленых, почти член нашего ОРСа , — пропасть казалась еще больше.

Мы условились встретиться всем ОРСом в ближайшие дни, но, когда через неделю я позвонил Паленыху, приятный женский голос сообщил, что Игорь утром улетел в Рим. Встреча с Паленыхом все же свою роль сыграла. В тот же день я обзвонил членов ОРСа , и в воскресенье вчетвером — я, Натансон, Леви и Мара — сидели в кафе "Националь" и, вспоминая минувшее, мечтали о будущем. Все они были тогда выпускниками МВТУ и со дня на день ждали распределения.

Кажется, мы тогда поклялись видеться чаще, единодушно признав, что это чистой воды свинство — жить по соседству и годами не встречаться. Но клятвы так и остались клятвами, а жизнь разметала всех в разные стороны. И вот теперь, когда я увидел у входа в Министерство иностранных дел Паленыха, то решил снова, как 20 лет назад, обзвонить членов ОРСа. Все оказались в Москве, живы-здоровы, но услышал я в трубке голоса усталых, обремененных жизнью людей: да, хорошо бы, конечно, свидеться, но когда? У Мары второй месяц хворает жена. Леви на днях должен отправлять ребенка в лагерь. Бездетный Натансон — единственный, с кем время от времени я встречался, — и тот слег с холециститом и собирался в Ессентуки.

Я положил трубку и вспомнил почему-то прогнозы нашей литераторши Лидии Герасимовны на выпускном школьном вечере. Она подняла тост за будущее ОРСа*, впервые назвав нас нашей классной кличкой. Она предрекала нам блистательное будущее. У нее была мания — всегда говорить полунамеками, и оттого, что она несчетное число раз вспомнила Эйнштейна и Нильса Бора, нетрудно было догадаться, каким станет наше завтра. Да и мы сами верили в наше завтра. И уж конечно не думали, что наступит время, когда не то что места под солнцем — не найдем даже вечера, чтобы собраться и выпить по рюмке коньяку.

Итак, нас было четверо. Марк Шамран, которого для удобства пользования и с легкой руки Натансона звали просто Марой. Лева Эткин, которого неизвестно почему с первого же дня звали Леви. Затем были Натансон и я, которых никак не звали. И был еще спортивный, с отличной осанкой и множеством красных угрей на лице Паленых.

Папа Паленыха занимал пост заместителя председателя Моссовета, а сам он явно симпатизировал нашей компании. Его можно было бы даже назвать нашим попутчиком, если бы нас связывала хоть какая-то программа. Но никакой программы не было, а была лишь сразу приставшая к нам классная кличка ОРС.

Эту кличку мы придумали себе сами. Кто-то, кажется, Мара, во время сбора металлолома или какого-то другого мероприятия, какие в то время устраивали постоянно, умудрился от этого мероприятия увильнуть и при этом победно воскликнул:

— Я в ОРСе, а вы!

---

*В голодные годы войны ОРС считался на любом предприятии самым теплым и сытым местом.

Так пошло с того дня по классу: "Я — в ОРСе, а вы!" Странно, что от подобной нелепицы мог приклеиться к нам этот "ОРС" на многие годы.

Правда, тот же Мара, когда мы сидели в "Национале", пытался подвести под нее идеологическую основу. Изрядно выпив, он вдруг вздумал устроить анкетный опрос присутствующих:

— Ваше как фамилие? Перельман, а ваше — Натансон, а ваше — Леви, если не ошибаюсь, Эткин. А я, если позволите, Шамран. Вот и получается, что мы все в ОРСе. Паленых в Риме, а инженера Шамрана в Челябинскую область посылают...

Экстраполяция была явно неправомерной — событиями 53 года неверно было объяснять происходившее в 45-м.

Когда в сентябре 44 года я очутился в восьмом классе "Б" 170-й школы, то на время вообще забыл, что я еврей, а если вспоминал, то, скорее, с затаенной гордостью.

К ОРСу в классе относились в высшей степени уважительно. Если он что-то решал, то это же решали все, если он создавал о ком-то мнение, то оно становилось мнением всех. Это было негласное и добровольно признаваемое лидерство, которое могло по десять раз на день вышучиваться, но даже в самых едких шутках по поводу непревзойденного умения ОРСа везде и всегда устроиться не было и грана антисемитизма. Все это Натансон и пытался втолковать пьяному Маре, но тот упорно гнул свое:

— Ваше имя и отчество как — Виктор Иванович Натансон? Вы, кажется, русский? И вы, Лев Борисович, русский, у вас мама русская — и вообще все мы очень разные люди...

Произнося эту речь за ресторанным столиком, Шам-

ран, разумеется, не мог предполагать, что буквально через несколько дней "русский" Натансон и "русский" Эткин получат такое назначение, после которого, вероятно, уже до конца жизни не смогут подняться на ноги. Но в одном Мара был безусловно прав — мы были, действительно, очень разные люди.

Витя Натансон за полгода до прихода в 170-ю школу вернулся из Соединенных Штатов Америки, где его мама работала в советском павильоне на Международной выставке в Нью-Йорке. Среди нас он был воплощением деловитости. Все, о чем бы ни заходила речь, пропускал сквозь призму здравого смысла, играл в теннис и говорил сухим надтреснутым голосом.В биографии его было одно белое пятно. Натансон была фамилия его матери, и, когда его спрашивали об отце, он обычно сердито отрезáл:

— Отца нет и прошу вопросы на эту тему не задавать.

Леви был педант, математик и редкий аккуратист. Василий Васильевич (в просторечии "Васька"), наш математик, называл его Левушка и прочил ему будущее Ландау.

Шамран был завзятый театрал, лучше всех танцевал. Единственный из класса дружил с девушкой по имени Юля из соседней 635-й школы. Шамран обожал своего престарелого папу-корректора и вообще был не в меру сентиментален, за что его сосед по парте Натансон и заклеймил не вполне мужским именем Мара.

Все это, однако, не мешало ОРСу дружить и в полном составе ходить на занятия кружка бальных танцев. Танцевали па-де-патинер, па-де-грас, тарантеллу, мазурку, а в конце занятий, как бы на десерт, — фокстрот и танго. Вел кружок шестидесятилетний и прямой как струнка балетмейстер Шиттик, который добился у директора разрешения девочкам и мальчикам заниматься вместе,

что сообщало занятиям определенный ритуал и очарование.

Начинались они обычно в восемь, но ОРС встречался в половине восьмого. За мной заходил Натансон, живший в Козицком переулке. Одет он был в отличный английский костюм. И не успевали мы выйти из дому, как он извлекал из кармана брюк пачку "Северной Пальмиры". За ней он еще днем специально заходил на Центральный рынок (в киосках такие папиросы достать было невозможно). И, почувствовав себя уже настоящими мужчинами, мы закуривали.

Леви и Мара обычно ждали нас на углу Петровского переулка. Леви – в шляпе, Мара – вообще с непокрытой головой, откинув назад свои пышные волнистые волосы, и оба в предвкушении приятного вечера с красивыми и таинственными девочками из 635-й школы.

Натансон танцевал с серьезнейшим выражением лица, боком и слегка приподняв одно плечо – словно линкор, рассекающий волны. Мара был король танца. Он шел легко, чуть откинув свою пышноволосую голову, и, встречаясь с Натансоном, не упускал случая сострить:

– Витя, пифагоровы штаны на все стороны равны.

Все это происходило при дамах, и Натансон бросал на Шамрана зверский взгляд:

– Цыц, Мара!

Шиттик кричал:

– Стоп! – и сердито хлопал в ладоши: – Друзья, что за переговоры в танце! Танцы – это занятие королей, а не петухов...

И снова хлопок:

– Раз, два, три, раз, два, три...

И занятия продолжались. И мы, важные, как тамбовские гусаки, шествовали за Шиттиком по залу, держа своих дам за кончики пальцев, и в гусарских ритмах ма-

зурки весело прыгали на зеркальном школьном паркете и учились делать паблеансе, которые Шиттик называл альфой и омегой современного танца. О, это были незабываемые мгновения! О них может вспоминать, но их не способен пережить вновь сорокатрехлетний человек.

Мы встречались взглядами с нашими, такими же, как мы, возбужденными королевами и открывали для себя новые стороны жизни, которых нас безжалостно лишила война.

Если нашим "официальным" попутчиком был Игорь Паленых, то была у нас и подпольная еврейская тень — троюродный брат Леви по папиной линии Зяма, известный в ОРСе по довольно странному прозвищу "Малый".

Паленых жил по соседству с Натансоном на улице Горького. Он боготворил Натансона, провожал его до дому после школы и, как оруженосец, ни на шаг не отходил от него на школьных вечерах. Паленых был хорошим общительным парнем, но, имея папу заместителя председателя Моссовета, он плохо вписывался в нашу орсовскую компанию.

С "Малым" нас свела его богатейшая коллекция пластинок Лещенко и Вертинского, неизвестно когда и где приобретенная его папой, коммерческим директором какой-то трикотажной артели. Сам "Малый" появился в ОРСе неожиданно, когда мы уже учились в девятом классе. Был он наших лет, но из-за войны отстал. Когда мы перешли в девятый, он все еще сидел в седьмом классе.

Говорил он с сильным еврейским акцентом, картавил, не выговаривая ни "р", ни "л", был некрасив, пучеглаз, с огромным, как паяльник, носом, за который его и окрестили "Малый с паяльником".

В ОРСе паяльник для удобства пользования решили опустить и звали его просто "Малый".

Была у "Малого" слабость — к месту и не к месту поднимать еврейский вопрос. Он никогда не упускал случая заявить, что он стопроцентный "ид" и их, то есть "гоим", презирает всей душой. В ОРСе еврейский вопрос как таковой не дебатировался. На Зямины разглагольствования смотрели как на местечковые штучки, и, если он позволял себе заходить слишком далеко, Натансон зло обрывал его: "Малый, заткнись, в морду получишь!"

Вообще жизнь ОРСа была полна парадоксов. В субботний или воскресный вечер странно было видеть Натансона расхаживающим по захламленной Зяминой комнате в Столешниковом переулке и энергично насвистывающим в такт бешено играющей лещенковской пластинке: "Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка, моя ты душечка..." Следом за Лещенко заводил свою пластинку "Малый".

— Такой певец и в Хумынии вынужден пхозябать. Очень он им нужен гоим, он нам, идн, нужен, это да!

Затем распахивалось настежь окно, чтобы концерт слышал весь Столешников.

— Ох, "Малый", не умрешь ты своей смертью,— первый не выдерживал Леви.

— Не умху? Это еще посмотхим, кто не умхет, а кто умхет. Что они мне сделают? Посадят? Хохошо, пусть сажают...

—Цыц, идиот! — рычал Натансон. — Дай послушать!

"Малый" смолкал, но вскоре начинал опять. Настоящий отпор его сионистским вылазкам был дан мамой Натансона, старой партийкой и ответственным работником СОВМИНа.

По какой-то причине музыкальный вечер устраивали на этот раз не у "Малого", а у Натансона, в Козицком переулке. "Малый", как всегда, расфилософствовался, и до слуха Елизаветы Михайловны Натансон донеслись его откровения по еврейскому вопросу. Елизавета Михайловна уже давно не одобряла ни наших музыкальных пристрастий, ни дружбы ее сына с "Малым". И теперь, когда услышала из своей комнаты его рассуждения по еврейскому вопросу, чаша ее терпения переполнилась.

"Малого" она тогда напугала страшно. Я и сейчас не могу без улыбки вспомнить эту сцену. Стоит маленькая и пунцовая от возмущения мама Натансона и, размахивая указательным пальцем перед Зяминым паяльником, взывает к его гражданской совести:

— Как вам, Зяма, не стыдно? Что значит "мы" и "они". Я — сама еврейка по национальности, но горжусь, что выросла среди великого русского народа.

— Я тоже, между пхочим, гохжусь, почему нет, — миролюбиво пожимал плечами "Малый", — но я же имею пхаво любить свой евхейский наход.

— Бросьте, — уже побагровев от гнева, продолжала мама Натансона. — Пока есть партия и советская власть, еврейский народ ни в чьей защите не нуждается, завтра же позвоню вашему отцу и выясню, откуда у вас эти настроения.

Прошло 27 лет, а кажется, что это все было в прошлом веке. Давно я потерял из виду "Малого", но, как ни странно, время от времени вижусь с мамой Вити Натансона. Когда я захожу к нему, то нет-нет, да и переброшусь парой слов с семидесятипятилетней Елизаветой Михайловной. Она персональная пенсионерка, но, как пишут о таких в газетах, все еще сохраняет бодрость

духа и живой интерес к жизни. Подле нее часто можно увидеть плечистого седого бодрячка — это Иван Арсеньевич, отец Натансона, объявившийся на горизонте после двадцати лет заключения.

Амнистированный и восстановленный во всех правах, он не отказывает себе в удовольствии выпить чашку чая с предметом своей юношеской любви, а она — принять у себя дома человека, которого более тридцати лет не желала знать, и даже в знак этого нежелания новорожденного сына своего назвала не Виктор Иванович, а Виктор Елизаветич.

Меня Елизавета Михайловна всякий раз, когда встречает, забрасывает вопросами, что слышно на белом свете. Начинает обычно с главного:

— Ну, Виктор, как там дела с нашим братом? Прижимают? Не знаю, что бы сказал Владимир Ильич, если бы вышел из Мавзолея...

Признаться, я и сам не возьму в толк, что бы сказал Владимир Ильич, зато представляю, как бы торжествовал "Малый", если бы хоть краем уха услышал разговор мамы Натансона.

ЗАВЕРЯЕМ ТОВАРИЩА СТАЛИНА...

Время — удивительнейшая штука. Старого,умудренного жизнью человека оно способно представить наивным и неумным простачком, а безусого, дурашливого юнца едва ли не мудрецом, глядящим сквозь десятилетия. Впрочем, возможно, дело и не во времени, а в нашей жизни. Она заставляет людей переживать такие

метаморфозы, в которые они сами, отжив свой век, не в состоянии поверить.

Как далека была от меня философия "Малого"! Конечно, в детстве я изрядно настрадался от своего еврейства, но причем же тут рассуждения о "гоим" и "идн" и почему я должен говорить, что я "ид", и ненавидеть русских, если вся моя жизнь связана с Россией?

Год назад кончилась война, в которой моя страна одержала величайшую победу. В памяти неувядаемо жил день Победы с ликующими людьми и тысячезалпными салютами. Ну а то, что в этот день Сталин пил за великий русский народ, то, очевидно, так и нужно. Ведь это действительно великий народ. Русских в стране больше ста миллионов, а евреев сколько? Я не знал, сколько именно, но был уверен, что ничтожно мало. Постыдной и уничижительной кажется мне сегодня эта философия. Но я обязан ее излагать такой, какой она жила во мне тогда, в транскрипции 45 года, принесшего России не только сладость победы, но и горькие запахи шовинистического угара. Чем он обернется для евреев, я еще буду писать.Пока лишь хочу засвидетельствовать,что в те послевоенные годы мы, то есть я, Натансон, Шамран, Леви, тысячи таких, как мы, верили в свое будущее и связывали свою веру с Россией.

В десятом классе я писал сочинение на вольную тему: "Мой друг, отчизне посвятим..." Эту же тему избрал почти весь ОРС. Исключением был лишь педант Леви. Его характер, признающий лишь точные измерения, сказался и здесь. Он предпочел "Художественные особенности драматургии Горького".

Вскоре было объявлено, что лучшие сочинения в районе написал ОРС, а лучшее из лучших — наш орсов-

ский романтик и донжуан Мара Шамран. Всего в нашем 10 "Б" было 17 пятерок, и почти все за сочинения на вольную тему.

Наша преподавательница Лидия Герасимовна Бронштейн чувствовала себя именинницей.

Всего второй год, как в школах ввели экзамены на аттестат зрелости. Лучшим вручали золотые и серебряные медали, дающие право поступать в институт без экзаменов, а на пути к медали, как непреступная скала, стояла пятерка по сочинению. И когда впервые в 8 "Б" появилась взлохмаченная сухонькая личность с красными воспаленными глазами и объявила, что будет у нас вести русскую литературу, то наши крикливые "моллюски", два классных недоростка Орлов и Матузович, не выдержали и квакнули в воздух:"Иди ты!"

Не знали "моллюски", да и никто из нас не думал, что эта малорослая и похожая на непричесанного подростка Лидия Герасимовна станет властительницей наших дум,ибо от нее,от ее благословенной пятерки, будут зависеть наши медали, открывающие дорогу в любой вуз. Нет, она была не Державиным, а, скорее, нашим Жозефом Фуше. Фуше в юбке, она поддерживала отношения едва ли не с каждым из преподавателей, корректируя при надобности их оценки и воздействуя на них в случае необходимости через директора школы Панаско. Она интриговала и вступала в "беспринципные компромиссы" с математиком Василием Васильевичем и историком Сергеем Михайловичем. Тайными нитями была связана с руководителями РОНО*, от которых в канун экзаменов на аттестат зрелости пыталась выудить — и выудила-таки! — хра-

* Районный отдел народного образования.

нившиеся в страшной тайне темы сочинений. Она была до ужаса косноязычна, но необыкновенно целеустремленна. В 10 классе без конца устраивала контрольные сочинения, не зная устали натаскивала нас, отдавая все свои симпатии ОРСу.

В класс Лидия Герасимовна входила молча, держа под мышкой стопку наших тетрадей и загадочно улыбаясь:

— Натансон, от вас я ждала большего. Всегда столько мыслей, а сегодня? Тему развить не сумели, просто странно... Вот Шамран, приятно читать. Молодец, Шамран, очень хорошо! Если бы Шамран на аттестат так написал...

— Так что же вы мне поставили, Лидия Герасимовна? — не выдерживал Мара.

— Что поставила? Четверку с минусом. И то, между нами говоря, завысила. Как вам нравится, он не знает, как слово "объездчик" пишется. Стыд! Позор!

Снова молчание, и снова загадочная улыбка.

— А у Эткина? У Эткина не скажу что. Написано грамотно, толково, план хороший. Эткиным, кстати, и Василий Васильевич доволен. Между нами говоря, директор мне вчера прямо сказал: Эткин с Натансоном на медали идут. А вы, Перельман, троечку по алгебре схватили, молодец, нечего сказать!

По-своему готовился к экзаменам на аттестат и наш Васька. Он был полной противоположностью Лидии Герасимовны. Длинный, тощий, прыгающий в свои семьдесят два года через три ступеньки. Он экспансивно влетал в класс и начинал:

— Ну-с, милорды, на чем мы остановились в прошлый раз?

В отличие от литераторши, у него все было окружено ореолом тайны, даже отметки он ставил не в журнал, а

в кондуит. Он носил его во внутреннем кармане пиджака и для большей конспирации обозначал отметки по-английски: **five, four, three, two...**

В ОРСе он более всех любил Леви, звал его Левушкой и каждый раз ставил ему **"five"**.

Были среди милордов и такие, которые неизменно получали у Васьки колы. Лидировал среди них наш классный актер Серж Апостолов. Он был страшный позер, и когда Васька вызывал его к доске, то выходил он, откинув назад свою кудрявую лысеющую голову и кокетливо двигая узкими плечами. У доски, играя мелом, нес такую ахинею, что Васька довольно скоро не выдерживал и, выхватив из кармана кондуит, восклицал:

— О владыка живота моего, нельзя же быть такой бестолочью.

С той же гордо поднятой головой Серж возвращался на место. На перемене он говорил, что математика — не его амплуа, он создан для театра и искусства. Особенно не любил Апостолова историк Сергей Михайлович. Серж был не только позер и пустомеля, но и непревзойденный в классе лентяй. И старый прожженный циник Сергей Михайлович видел его насквозь. Вызывая Сержа к доске, он начинал не с урока, а с хронологии.

— Скажи мне, Апостолов, когда была Куликовская битва?

— По-моему, в 1483 году...

— "По-моему" не годится, история — точнее математики. Битва под Калкой?

— Точно не помню...

— Перечисли десять сталинских ударов.

— Сталин разработал...

— У товарища Сталина есть имя и отчество.

— Как правильно говорит Иосиф Виссарионович Сталин...

— Товарищ Сталин всегда правильно говорит и в твоих комплиментах не нуждается.

— Ну, тогда уж не знаю.

— Вот и я вижу, что не знаешь, садись, два!

Кроме Сержа, зубрили все. Когда начались экзамены, я, как и весь ОРС, перешел на осадное положение и по количеству кофе, выпитого в те дни, кажется, мог состязаться с Оноре де Бальзаком.

Помимо кофе употребляли еще феномин, чтобы после бессонных ночей сохранять ясность ума. Это было всеобщее подогреваемое самой школой сумасшествие. Не спали не только ученики, но и педагоги. И без того щупленькая — одни кости да кожа — Лидия Герасимовна от треволнений превратилась в тень, но своего все же добилась — семнадцать ее пятерок обернулись семнадцатью медалями.В числе медалистов был весь наш ОРС.

После экзаменов я свалился с острым сердечным приступом, но был счастлив сознанием, что отныне держу в своих руках звездный билет.

В последние годы мне почему-то дважды снилась наша школа и учителя — Лидия Герасимовна, Васька, давно уже отошедшие в мир иной. Причем являлись они в самом неприглядном виде — беспринципными циниками, плутами, только и требующими свои файфы (почему-то все ставили отметки по-английски) , но с юности не внушившими никому из нас ничего святого и прекрасного.

Однажды к нам в школу приехал сам Сталин. Обошел классы и в конце поднялся к нам в 10 ''Б''. Прищурив взгляд, он спросил:

— А что, в этом классе евреи есть?

И директор, пожирая вождя восторженными глазами, доложил:

— Никак нет, Иосиф Виссарионович, ни одного.

Но в эту самую минуту Сталин вдруг увидел за партой Лидию Герасимовну и, поманив ее пальцем, сказал:

— Я знаю, что в этом классе еще много евреев, но они себя правильно ведут и поэтому отныне будут считаться русскими...

Сон, как и всякий сон, довольно глупый и причудливый, навел меня на мысль, которая, если и имеет, то очень косвенное отношение к моим воспоминаниям.

В 47 году в стране уже процветал великодержавный шовинизм. Многоопытные отцы и матери, подобно маме Натансон, предусмотрительно записывали своих детей русскими, а в Петровском переулке, в центре Москвы, стояла школа, где явочным порядком отменили национальности — и едва ли не всей ее жизнью негласно правила бескорыстная фанатичка Бронштейн. Среди выпускников лидировала не юная поросль великого русского народа, а четверка еврейских ребят с вызывающе еврейскими фамилиями, и к тому же присвоившая себе полуеврейскую кличку ОРС.

Лет пять спустя оказался я по случаю в Петровском переулке и решил заглянуть в родные пенаты. Хоть бы одно знакомое лицо — ни одного! В вестибюле висит доска с оттиснутыми на ней серебром фамилиями медалистов разных лет. Красуется на ней и ОРС в полном составе. Но чем дальше от 47 года, тем меньше еврейских фамилий, а в 52-м и вовсе одна только. Чудно это было видеть, как скудели на способных детей евреи, проживавшие в районе Петровского переулка.

Я спросил дежурившую в раздевалке техничку про

Лидию Герасимовну. Она долго мучилась, никак не могла вспомнить, пока ее вдруг не осенило:

— Постой, постой, это такая евреечка настырная, все нечесаная ходила. Как же, уволили, их теперь всех увольняют, а эту и вовсе, стара стала.

На выпускном вечере Лидия Герасимовна произнесла прочувствованную речь — ту самую, в которой впервые назвала нас ОРСом и без конца вспоминала Эйнштейна и Бора. В заключение она сказала то, что обычно говорят в таких случаях, а именно, что с завтрашнего утра нас ждет другая, взрослая жизнь.

Она хотела добавить еще что-то, но потеряла нить и, достав из сумочки платок, вдруг стала тереть свои большие вороньи глаза. На том и кончила, не подозревая, насколько была точна, определив время, с которого взрослая жизнь взяла нас в оборот.

Наутро после выпускного вечера ОРС в полном составе вызвали в райком комсомола и сказали, что нам, как самым талантливым, поручается ответственнейшее дело — подготовить обращение выпускников столицы к товарищу Сталину. Оно должно быть прочитано на общегородском собрании выпускников.

Нас инструктировала секретарь райкома, мощная полногрудая девица с хорошо поставленным звонким голосом. Она сказала:

— Письмо должно быть неподкупно искренним. Пишите о том, как хотите жить и кем себя видите в будущем. Вы кем хотите быть? — улыбнулась она Натансону.

— Ракетостроителем.

— А вы? — спросила она Леви.

— Тоже.

— А я, — не выдержал Мара, — тепловозником, в смысле конструктором тепловозов...

Текст мы подготовили за один вечер. Писали у меня.

Не помню всего, что в нем было, но когда коснулись будущего, то именно так и написали, как советовала секретарь райкома: "Мы, завтрашние строители ракет и тепловозов, юристы и политические деятели", — добавил я. И за Сержа тоже написали: "... актеры и работники искусств", — добавил Мара. Все мы клялись великому вождю, что будем не покладая рук трудиться на благо Родины. Только в одном месте разгорелся спор. Я сказал, что надо коснуться дружбы народов и перечислить хотя бы основные национальности выпускников: русские, украинцы, белорусы, евреи, грузины, армяне, татары и т.д.

— Насчет евреев, контора — напрасный труд, — кисло протянул Натансон.

— Это почему же? — возмутился я.

— Почему? Потому что кончается на "у".

Но я все-таки настоял, чтобы евреев оставить, и, когда разошлись, еще два часа корпел над "Обращением". Дописал о партии, о нашей вере в комсомол и еще о чем-то в том же духе.

Текст в райком комсомола относил тоже я. И до последней минуты ждал оттуда звонка — ведь письмо кто-то должен читать. Шутка ли! — Сталин может услышать. И в зале Чайковского, где устраивали вечер, я первым делом разыскал нашего секретаря райкома и на всякий случай дважды попался ей на глаза. Она была страшно занята и на мое многозначительное "здравствуйте" едва кивнула головой.

Я понял, что в своих мечтаниях явно хватил лишку. Возможно, наше творение вообще выкинули в урну. Но когда открыли вечер, на сцену вышла пухленькая с косой девушка и слово в слово прочитала наш текст. Впрочем, нет, одно слово заменили: вместо "евреев" вставили "татар".

— Татаро-монгольское иго! — дурашливо прыснул сидевший рядом Мара.

— Цыц! — гаркнул Натансон и в антракте, раскрыв передо мной "Северную пальмиру", неизвестно к чему сказал: — А в остальном все точно, заявка ОРСа удовлетворена на сто процентов!

Вскоре выяснилось, что натансоновский оптимизм оказался преждевременным. Несмотря на золотые медали, ни его, ни Леви на факультет ракетостроения не приняли. Не помогло даже то, что оба числились по паспорту русскими. Ну, а дальше? А дальше "будущие ракетостроители" Натансон и Эткин окончили МВТУ, и направили их работать механиками. Одного — в Каширскую, другого — в "царевококшайскую" МТС (название я так и не запомнил). Конструктор тепловозов Шамран трубил пять лет в Челябинске — не то технологом, не то цеховым мастером. Ну а я, будущий Плевако, волей судьбы зацепился на бухгалтерской ниве. Впрочем, так неаккуратно обошлись не со всеми заявками. Наш классный актер Серж Апостолов все-таки закончил с грехом пополам ГИТИС или ВГИК. Затем работал в ЦК профсоюза работников искусств. И еще где-то, и еще. И нигде, говорят, не справлялся. Но, несмотря на это, его нигде не снимали,а лишь передвигали с одной должности на другую.Пока он не оказался в Отделе культуры ЦК КПСС, где и по сей день довольно успешно курирует столичные театры. Говорят, не без его участия закрыли театр Эфроса и едва не сняли с работы Любимова.

Поистине, вещими оказались слова Сержа, что он создан для театра и искусства. Но тогда, в зале Чайковского, никто не мог предвидеть такое развитие событий.

После того как кончилась торжественная часть, оркестр грянул "Дунайские волны". А я все еще стоял расстроенный, что эта басовитая девица с косой так бес-

сппардонно отобрала у меня мое авторство на обращение к товарищу Сталину. Стоял, кажется, недолго. Подошла знакомая из 635 школы и потащила меня танцевать. Гремел оркестр, кружились в вальсе, и вскоре я забыл про свою неприятность. В конце концов, мне было только восемнадцать лет.

БУДУЩИЙ ПЛЕВАКО

Всякий раз, когда меня постигает в жизни неудача, отец и мать не упускают случая вспомнить сорок седьмой год, когда я поступил в Юридический институт. Шел бы в медицинский, с твоими способностями защитил бы диссертацию и плевал бы на все — любят евреев, не любят. Врач всегда врач.

Здраво рассуждая, старики, конечно, правы. Да только многое в моей жизни плохо согласовывалось со здравым смыслом, хотя за плечами уже сорок три года.

Почему я решил стать юристом? Потому что был уверен, что амплуа это мне подходит больше всего. При всей неубедительности такого ответа мне к нему нечего добавить. Для непрошеных критиков у меня был припасен целый набор аргументов, ну, например, что мне плохо дается математика и что порядочного инженера из меня все равно не получится и что вообще самое интересное в жизни — работать с людьми, хотя, что это означает, я представлял довольно смутно.

Когда в ОРСе, где все, кроме меня, поступили в Бауманский и начинали надо мной иронизировать, я выпаливал обойму исторических примеров: юристами

были Ллойд-Джордж, Клемансо, Черчилль,— разумеется, не отдавая себе отчета в том, что, будучи блестящими в споре, мои примеры в практической жизни ничего не значат. Да и думал ли я тогда о практической жизни? Мне было 18 лет, в классе говорили, что у меня отлично подвешен язык. И я решил сдать документы на юрфак Московского университета.

Если бы я обладал здравым смыслом, — все, что произошло дальше, должно было, по крайней мере, меня насторожить. А дальше случилось то, что на юрфак меня не приняли, как не прошедшего мандатную комиссию. Вскоре я узнал, что та же участь постигла многих медалистов, имеющих в анкете "пятый пункт", и для каждого был свой аргумент. Что касается меня, то я для Московского университета вообще оказался недостаточно грамотным. На мандатной комиссии, которую возглавил сам декан факультета, мне сказали: "Как же так, товарищ Перельман, в столичный университет хотите, а русского языка не знаете".

Затем было вслух зачитано мое заявление, где, сообщая свой адрес — название улицы, номер дома и квартиры, — я по рассеянности не поставил между ними двух запятых. Потерпев фиаско на юрфаке МГУ, я вспомнил о другой своей тайной мечте — стать редактором и журналистом и пойти на редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института. Там мандатную комиссию представлял в единственном числе профессор Былинский, встретивший меня с такой веселой, солнечной улыбкой, будто только и ждал моего прихода. После чего мы с ним уединились, и с тем же сияющим выражением лица он продиктовал мне диктант. Как я узнал позже, он преподносился далеко не мне одному, и одна из фраз его еще долго как анекдот ходила по Москве:

"На террасе, возле конопляника, тетушка Анфиса

Петровна угощала винегретом вперемежку с кашей путевого объездчика Фаддея..."

Взяв у меня листок, Былинский толстенным красным карандашом, который он почему-то держал в кулаке, молниеносно поправил ошибки и, весело блестя очками, вывел дробь: тринадцать седьмых — тринадцать орфографических и семь синтаксических. "Не прошли, мой дорогой, проходная цифра у нас восемь вторых...".

Вот так и оказался я в Московском юридическом институте или просто МЮИ, в котором, слава Богу, вообще не было мандатных комиссий. Где-то наверху было принято решение укрепить судебно-прокурорские органы кадрами с высшим образованием. В институт надо было срочно набрать 480 человек, а заявлений было только 320.

В те же дни я сдал документы на заочное отделение Полиграфического института и стал одновременно студентом двух ВУЗов.

Я прекрасно помню первый день в МЮИ и первую лекцию в малом зале на третьем этаже по Всеобщей истории государства и права. Читал ее доцент Черниловский, очень молоденький, с нежным детским лицом, впоследствии прозванный нами Зиночкой. Черниловский был в черных роговых очках, с большими залысинами и такого маленького роста, что голова его едва выглядывала из-за кафедры. Он объявил тему лекции — государство и право Ассиро-Вавилонии и законы Хаммураби. И с первой же минуты обрушил на нас весь блеск своей эрудиции, явно стараясь произвести впечатление. Но я почти ничего не слышал. Микрофон не работал, в зале была страшная духота. Из буфета с первого этажа неслись всякие запахи. И, махнув рукой на законы Хаммураби, я принялся разглядывать окружение.

С самого начала, как переступил я порог институ-

та, он ошеломил меня. Оказавшись среди невообразимой суеты и гама, я вначале вообще не мог понять, куда идти. К доске объявлений невозможно было пробиться. По этажам и лестницам двигались потоки студентов. Все что-то обсуждали, о чем-то говорили, чего я в этом содоме даже не пытался уразуметь. Перед глазами мелькали стеклянные дощечки с таинственными названиями кабинетов — уголовного процесса, криминалистики, международного права. Все поражало новизной, все бурлило. И теперь, оказавшись на первой лекции, я, сгорая от любопытства, разглядывал лица своих сокурсников и сокурсниц.

В зале было много фронтовиков, иные с только что отпоротыми лычками и при всех регалиях, много евреев, чему я тотчас дал объяснение: евреи, как умная нация, естественно тяготеют к юстиции (позже выяснилось, что умная нация тут ни при чем, большинство, как и я, потерпело крушение в других ВУЗах) . Масса интересных женщин. Я почему-то так и произнес про себя — не "девушек", а "женщин", возможно, потому, что они ничуть не были похожи на девочек из 635 школы. Наконец, много просто необычных интересных лиц, во всяком случае, такими они мне казались.

Я разглядывал зал и сам ловил на себе взгляды. Все были заняты тем же, чем и я, и законы Хаммураби мало кого волновали. То было радостное, ни с чем не сравнимое предчувствие новой студенческой жизни. Я столько о ней слышал, и теперь наконец предстояло начать ее самому.

Лишь раз в жизни я ощущал нечто подобное. Было это в шестьдесят седьмом году, когда на плавбазе "Северодвинск" я уходил в Северную Атлантику. Как и тогда, в институте, на судне, стоявшем на рейде в Мурманске, собрались люди, совершенно не похожие и не знавшие

друг друга. Были среди них врачи, журналисты, студенты. Ошеломленные грандиозностью судна и охваченные сладостным предвкушением жизни, ждущей их в океане, люди дни и ночи, пока не вышли в море, бродили по палубам и салонам с добрыми, бессмысленными лицами лунатиков. Все были какими-то просветленными, готовыми делать друг другу добро. В те дни мне даже казалось, что доброта — не свойство характера, а состояние души человека.

Я не намерен сравнивать свою институтскую жизнь с плаванием — общим были тут разве лишь слепота и прозрение. Оказавшись на Банке Джорджес и глядя на обитателей "Северодвинска" не глазами лунатика, а глазами трезво мыслящего человека, я увижу во многих то, что было скрыто на берегу. И в институте по прошествии времени также наступит похмелье.

Но в те первые дни я, как завороженный, ходил по этажам и жадно читал объявления, появляющиеся буквально каждый день, — о заседаниях кафедр все с теми же таинственными и малопонятными мне названиями, ученого совета, о бесчисленных конференциях и собраниях.

Лекции кончались рано. Стояло бабье лето. На дворе шпарило сентябрьское солнце. Но, почувствовав вожделенную свободу, о которой мечтал в школе, я после занятий совсем не ощущал желания идти домой и страшно завидовал старшекурсникам, которые могли жить столь бурной, наполненной жизнью, проходившей, как мне казалось, мимо меня.

К тому же я был уверен, что мне явно не повезло с группой, оказавшейся не такой, как другие. Там было много интересных женщин, много моих одногодок, и в первые же дни все успели перезнакомиться, и даже на лекциях держались вместе.

У нас в группе в большинстве были фронтовики. Все великовозрастные, почти все не москвичи, а женщин было только две — провинциальная крикуха Китя Клейдман, у которой подергивался от тика глаз и была странная привычка к месту и не к месту выдавать пушкинские цитаты из школьного учебника, и еще москвичка Борисова. Она всегда и всем улыбалась и ничем, кроме изящной фигурки и крошечного, как канцелярская кнопка, носика, не была примечательна.

Фронтовики держались особняком, на семинарах помалкивали, зато как по команде все являлись на лекции — даже к Софроненко, читавшей историю русского государства и права.

Читая лекции, Софроненко заикалась, окала и никогда не отрывала головы от конспектов. На ее лекциях зал был обычно пуст, но наши "лбы", как я их про себя называл, усаживались со своими тетрадочками на первом ряду и старались не пропустить ни единого слова. Выделялся среди них лишь Семен Каплан. Хотя он и прошел фронт, но был очень молод. И еще был необыкновенный говорун и спорщик. Когда выступал на семинарах, то так увлекался, что в конце обычно забывал все, что доказывал вначале.

Вчерашних десятиклассников в группе было раз два и обчелся. Самым любопытным из них был бородач Кленов, сразу же завоевавший успех у женщин своими крупными восточными глазами и длинными немужскими ресницами. В перерывах Кленов важно разгуливал по коридору и курил трубку, явно подражая Шерлоку Холмсу. Благодаря крупному с горбинкой носу и большому лысеющему лбу он и в самом деле имел что-то общее со знаменитым сыщиком.

Думал ли я, что этот манерный с длинными, как у девушки, ресницами Кленов станет моим лучшим

другом и дружба эта сохранится на многие годы. Тогда я тоже расхаживал по коридору, с равнодушным видом покуривая — в институте курили все, — и старался ничем не выдать своей неудовлетворенности оттого, что не знал, как и куда применить свою энергию.

Раньше ее поглощала школа, точнее жажда получить медаль. Теперь эта энергия высвободилась. И единственно, куда я ее мог направить — так мне самому, по крайней мере, казалось, — были семинары по марксизму и политэкономии. Здесь каждый из нас мог демонстрировать блеск ораторского искусства, и я выступал не реже и с неменьшим темпераментом, чем Семен Каплан.

На семинарах мы изучали ранние работы Ленина, без конца говорили о борьбе с пережитками прошлого, о журналах "Звезда" и "Ленинград" и через каждые два слова ссылались на товарища Сталина. И я тоже ссылался, и, как это было принято, всякий раз добавлял "с присущей ему гениальностью", "со сталинской мудростью", и, так говоря, испытывал ощущение, будто сам отныне был причастен к мудрой сталинской политике. В такие минуты мне казалось, что я рожден быть политическим деятелем.

Но на первом же комсомольском собрании убедился, что не являюсь в этом смысле исключением. Оратором и политическим деятелем на курсе считал себя едва ли не каждый.

Четыре с половиной часа избирали бюро ВЛКСМ. В жизни я не видел такой активности. Кандидатов навыдвигали вдвое больше, чем требовалось. Каждого заставляли рассказывать биографию, к каждому лезли в душу — кто отец, кто мать, почему так поздно вступил в комсомол, почему до сих пор не вступил в партию. И в итоге половину всех выдвинутых забаллотировали.

Секретарем комсомольской организации избрали са-

мого тихого и незаметного Эдика Боровского, его замом по воспитательной работе — Ивочку Перельцвайг. Казалось, если и был на курсе человек, не считавший себя ни политиком, ни оратором, так это был Боровский.

Сам он выступал редко, чаще присоединялся к точке зрения других и если брал слово, то обычно начинал так: "Ребята, хотел тут посоветоваться с вами по одному вопросу..."

На лице его всегда жило выражение неловкости оттого, что ему, столь незаметному, приходится руководить такими умными людьми, какие были на курсе.

Ивочка, напротив, казалось, была рождена предводительствовать. У нее была очаровательная мордашка и низкий грудной голос. Когда она говорила, то так задорно вскидывала мордашку, что, казалось, вот-вот запоет. Она выступала почти на каждом собрании и начинала обычно так: "Товарищи, я, как молодая комсомолка, считаю..." Она всегда кого-то обвиняла в пассивности, говорила, что это просто нечестно и не по-комсомольски, когда каждый живет сам по себе, неизвестно, о чем думает и чем дышит.

Я еще не раз буду возвращаться к Ивочке и к Боровскому. Не только потому, что жизнь сталкивала меня с ними в самых разных ситуациях. Он и она, каждый по-своему, станут для меня в какой-то степени фигурами символическими, помогут понять, что же произошло в жизни института за четыре года.

И еще одна личность врезалась в память с того первого комсомольского собрания. Это — Жарков, мой старый быковский знакомый. К своему величайшему удивлению, я вдруг увидел его в президиуме собрания как представителя комитета комсомола института. Я слышал, что он учится в МЮИ, но не ожидал встретить именно здесь.

Если в жизни возможно раздвоение личности, то оно произошло на моих глазах. Вместо бесшабашного дачного весельчака, который один на всем свете мог взрываться таким смехом, шумно катаясь по нескошенной траве на участке Крыловых, сейчас в президиуме сидел типичный комсомольский деятель с сонным, скучающим выражением лица. Он что-то записывал в блокнот и время от времени с той же скучной бесстрастностью на лице давал справки по процедурным вопросам. Они были настолько разными, что я даже подумал, который из них настоящий — тот, кто весело катался по траве, или этот, с сонным надменным выражением лица.

Из института мы вышли вместе с Кленовым, долго бродили по улицам. О чем только ни говорили в тот вечер, будто влюбленные, которые уже давно чувствовали влечение друг к другу и вдруг решили перестать таиться.

Его мечта — пойти по стопам отца, а отец всю жизнь служил в органах КГБ, работал в спецлагерях. В последнее время они жили на севере, пока отец не вышел в отставку и семья не перебралась в Москву. Конечно, он, Кленов-младший, не собирается служить в лагерях. Его цель — стать следователем, и ради этого он, собственно, и выбрал Юридический институт.

Я говорил, что еще не решил, кем буду, но хочу пойти в государственный аппарат, на политическую работу. Затем по косточкам перебрали каждого в группе и единодушно пришли к выводу, что в ней нет мыслителей.

К концу вечера мы явно почувствовали родство душ: оба евреи, хоть на еврейскую тему и не говорили, оба — интеллигенты и оба искали случая себя проявить.

ПИСЬМО БРАТЬЯМ-КОРЕЙЦАМ

Вскоре случай представился, и мы не преминули им воспользоваться. Однажды бродили мы по центру и совершенно случайно наткнулись на одного из наших сокурсников, Бориса Еравского. На курсе Еравский слыл выпивохой и эрудитом, сотрудничал на радио и в каких-то газетах. Встретив нас, он страшно обрадовался и незамедлительно сообщил, что у него к нам потрясающе важное дело. Что именно за дело, он изложил нам, когда мы втроем сидели за столиком в Коктейль-холле.

Только что началась война в Корее, и требуется срочно написать обращение к братьям-северокорейцам о том, что мы, советские люди, не оставим их в трудный час. Разумеется, он бы написал сам, но случилось одно непредвиденное обстоятельство, и, поскольку у него нет и минуты времени, он просит это сделать нас. Текст нужно сделать за ночь и не позже девяти утра передать нарсудье Фрунзенского района Иванову, который одновременно является обозревателем Всесоюзного радио. В десять обращение пойдет в эфир, и нас с Кленовым услышит весь мир. Надо было не иметь ни малейшего представления о реальной жизни, чтобы поверить в эту фантасмагорию. И мы его действительно не имели, если, обложившись газетами, всю ночь прокорпели над обращением к братьям-корейцам у Кленова на кухоньке, но к рассвету все же родили несколько "проникновенных" страниц.

Было в них все что полагается: и Сталин, и бешеная гидра империализма, и братская любовь к братьям-корейцам... Ровно в девять текст был доставлен по установленному адресу нарсудье Иванову. Он долго вспоми-

нал, кто такой Еравский. Кажется, он действительно говорил о чем-то подобном, но тот все перепутал, ибо обращение к братьям-корейцам должно было идти от имени общественности, например, от рабочих автозавода имени Сталина. На что мы с Кленовым в один голос воскликнули: "Пожалуйста, пускай от них!" Лишь бы пошло в эфир...

Подобного бескорыстия я больше никогда не проявлял в жизни — нас с Кленовым не прельщала ни слава, ни деньги. Мы жаждали действия, и чего стоила какая-то несчастная ночь, если нам открывалась для этого возможность.

Вот так невинно все начиналось: письмо к братьям-корейцам и еще собрания в группе, на которых без устали говорили о комсомольском долге и чести. На первом же из них постановили: главное в нашей жизни — дружба. Воля товарищей — закон для всех. Отныне все решали сообща и даже в кино и театр ходили вместе.

Меня выбрали комсоргом группы, и теперь само положение обязывало меня выступать чаще других. Кленов был моей правой рукой, Каплан — левой. Говорили только по большому счету и от каждого требовали понимания великих задач, стоящих перед страной.

В те дни все было великим: великая Россия, великие планы коммунизма и, разумеется, великий Сталин. В борьбе, которую вел великий народ, не было мелочей. Так писали газеты, и это же с убежденностью восемнадцатилетних повторяли мы.

Однажды я произнес сокрушительную речь против одной из двух наших женщин — Борисовой, прогулявшей подряд две вечерних лекции. Именно в эти часы ее видели в ресторане, и я потребовал обсудить ее поступок со всей комсомольской принципиальностью.

Другой раз из-за такого же пустяка обрушился на крикуху Клейдман.

А чуть позже поднял прогремевшее на весь институт дело Ильиной. Она появилась в группе в середине года, и, кроме того, что ходила в вызывающе короткой юбке и красила перекисью волосы, никакой иной ее вины не помню.

На собрании, кажется, говорил, что таким не место в наших рядах, что не сегодня завтра мы встретим ее у Метрополя. Перещеголяла меня лишь Ивочка Перельцвайг. Как молодая комсомолка, она испытывала стыд и горечь оттого, что оказалась рядом с такой, как товарищ Ильина.

Напрасно та плакала и пыталась что-то объяснить. Я тотчас же прервал ее: "Довольно, она не искренна... Есть предложение исключить!"

Поднялся Боровский: "А может, Витя, слишком?" Но когда стали голосовать, первый поднял руку за исключение.

Сама судьба воздаст мне за эту несправедливость, да и за все, кем я стал, охваченный страстным желанием служить комсомолу по большому счету.

Пройдет немногим более двух лет, и в том же Малом зале, теми же, с кем рука об руку я боролся за честь коллектива, будет разбираться персональное дело Перельмана и Кленова. Оказавшись в военном лагере, они "попирали", как скажет Ивочка, свой комсомольский и воинский долг.

"Помилуйте, слышу голос читателя, одни речи да собрания, а где студенческая юность? Где первые свидания? Где, наконец, сам институт с его живым многоголосьем и гениальными чудаками на кафедрах, о которых вспоминаешь до конца жизни?"

О Боже, все было! Свидания под часами у Петровских

ворот и под многими другими часами. И веселые мальчишники все на той же кленовской кухоньке в Фурманном переулке, где писали письмо братьям-корейцам, где гоняли чаи и уплетали черные сухарики с баклажанной икрой. Были и женщины, и танцы при потушенном свете, и бешеные ночи, после которых, едва волоча ноги, шли в институт и с видом покорителей вселенной глазели на окружающих.

Впрочем, это было позже, а вначале, коль скоро зашла речь о юности, были просто девочки, первые мои девочки — Люся Фридман и Нока Крастошевская.

С Люсей я познакомился на даче в Быкове, куда она приехала к подружке. Она была похожа на восточную принцессу — выше меня ростом, с длинной черной косой и глубокими лучистыми глазами. Я позвонил ей на другой день, и мы встретились под часами на площади Пушкина. Насколько храбр был я на комсомольских собраниях, настолько робок с девочками.

Я не знал, о чем говорить с Люсей, и все время расспрашивал ее, что она за последнее время прочитала и нравится ли ей русская классика. Потом встретились еще несколько раз, и снова я хотел казаться необыкновенно умным, и снова говорил о высоких материях, теперь, кажется, о законах Хаммураби.

Я продолжал настойчиво звонить ей, в мечтах обожал ее, но, не зная, как это выразить, я всякий раз с деланным безразличием задавал по телефону один и тот же глупейший вопрос: "Ты как, сегодня вечером свободна?" Теперь она все чаще говорила "нет". Тогда я спрашивал: "А завтра?" — "И завтра — нет". Я спрашивал: "А послезавтра?"—"Извини, но я вообще до конца недели занята".

Я сходил с ума от любви и еще больше от собственных унижений, не понимая, как она могла отвергать

меня, студента сразу двух институтов, такого умного, такого глубокомысленного.

Однажды я позвонил ей и сказал, что мне необходимо поговорить с ней по жизненно важному вопросу. Она долго не соглашалась, но я все-таки настоял на встрече. "Жизненно важный" разговор состоял всего из нескольких слов. Не глядя на нее, я заявил, что обдумал с начала до конца наши отношения и пришел к выводу, что она, то есть Люся, не нужна мне больше. Я так и сказал: "Ты мне больше не нужна, будь здорова".

Она смотрела на меня как на сумасшедшего, а я, больше всего опасаясь выдать себя, тотчас повернулся и скрылся с ее глаз. Так окончилась моя первая любовь.

У другой моей симпатии, Ноки Крастошевской, я бывал дома в течение нескольких лет. Их было две сестрички — Нока и Стелла. Нокой ее звала мама. Настоящее ее имя было Регина. В отличие от Люси Фридман, она была рыженькой и просто очень обаятельной девочкой с полными женскими руками.

Обе сестрички после восьмого класса, не выдержав тягот учения, бросили школу, и мама, изверившись в способностях дочерей, частенько устраивала вечерние чаи в расчете найти для девочек что-нибудь "приличное". Звали маму Лилией Адольфовной. Она была неисчерпаемым источником еврейских анекдотов, бесконечных хохм, и вообще это было 90 килограммов сплошного веселья.

Внешне Лилия Адольфовна напоминала стареющую одесскую бандершу. По ее собственным рассказам, она пережила бурную молодость. В шестнадцать лет ее умыкнул какой-то польский граф. От него, неизвестно как, она попала в руки к буденовскому комиссару. Затем вышла замуж за одного крупного снабженца. Снабженца посадили, и после этого Лилия Адольфовна

ни за кого больше не выходила. Обосновалась с девочками — двумя дочерьми снабженца — в коммунальной квартире на Моховой и вся отдалась устройству их судьбы.

С красоткой Нокой я даже не мог говорить о законах Хаммураби, поэтому чаще всего сидел на диване и, покуривая, молча любовался ею. Иногда отпускал глубокомысленные замечания, кои должны были свидетельствовать, что друга их дома не зря учат в двух институтах. Максимум, что мне дозволялось, это иногда под патефон станцевать с Нокой танго. Так что, сверхумные мысли обычно проходили мимо ушей моей возлюбленной, и все же я нашел способ поразить ее воображение. Однажды я сказал, что завтра принесу в конверте ее характеристику, но с условием, что она прочтет ее без меня. На листке, вложенном в конверт, написал: "Это вино молодо-зелено, но когда оно перебродит, то получится напиток, достойный богов". (Так, кажется, кто-то из великих критиков сказал об одном из великих писателей — кто о ком, я напрочь забыл.) .

На другой день Нока встретила меня сияющая и с этих пор не переставала мучить меня вопросом: "А кто же Бог? Нет его, перевелись все боги!.." Она весело кокетничала, оглядывая свои обнаженные полные плечи. А я смотрел на нее влюбленными глазами и по-прежнему молчал — не мог же я признаться, в ком хотел, чтобы она увидела своего Бога. А она, по-видимому, глядя на своего обожателя, на его нескладную сутулую фигуру и вечно торчащие волосы, никак не могла дойти до этой мысли. Вот так и жил я, и ходил на Моховую со своей тайной любовью.

Лилию Адольфовну моя робость не только не смущала, но, напротив, приводила в восторг. Предметом

ее особой гордости были мои родители. Она никогда их не видела в глаза, но не уставала возносить в глазах приятельниц, таких же веселых бандерш и анекдотисток, придумывая им все новые и все более громкие титулы.

— Кто он? — слышал я, бывало, из-за спины вопрос.

— Пэрльман! — переходила на торжественный шепот Лилия Адольфовна.

— А кто отец, кто?

— Адвокат, крупный адвокат...

— Как ты сказала, Перльман? Что-то я такого не слышала. Знаю Брауде, Комодова...

— Ты не слышала, их вейс, она не слышала. То Брауде, а то Пэрльман.

— А мать тоже адвокат?

— При чем тут мать? Мать редактор...

— Редактор?

— Да, редактор, представь себе.

— И что, крупной газеты?

— Я знаю, крупной или некрупной, во всяком случае, какой-то областной газеты.

Лилия Адольфовна так высоко парила, что с моей стороны было бы просто жестокостью подрезать ей крылья. И я несколько лет подряд продолжал ходить на Моховую, пока со своими серьезными намерениями не доходился до того, что обе сестрички вышли замуж за двух выпускников торфяного института Толю и Колю, которые увезли их вскоре в Сибирь.

Вот так и обстояло с девочками. Что же касается института и гениальных чудаков на кафедре, то были и они. Вспоминаю их и вижу себя в том же малом зале. На кафедре все тот же доцент Зиновий Михайлович Черниловский, что читал нам первую лекцию о законах Хаммураби. Для нас он уже давно Зиночка — именно так его зовут на курсе, — возможно, за маленький рост,

возможно, за пухлые детские губки. Мне почему-то всегда казалось, что Зиночка был единственным ребенком в семье.

В своих черных профессорских очках лысеющий Зиночка похож на восточного философа. Он только что прочел, и, как всегда, с блеском, лекцию о законах Перикла. Зал аплодирует, и сияющий Зиночка, стирая со лба капли пота, полный наполеоновского величия, не спеша спускается с кафедры.

Но вот в том же зале вижу другого Зиночку. От наполеоновского величия не осталось и следа. На детском Зиночкином лице растерянность. Голос дрожит, и голова совсем скрылась за кафедрой. Но у зала нет сочувствия к безродному космополиту Черниловскому. В своих лекциях он игнорировал классовую сущность буржуазного государства и систематически пресмыкался перед западной демократией. За все это и держит ответ перед ученым советом института.

На смену Зиночке на кафедре появляется Володька Покровский, читавший нам историю политических учений. Впрочем, "появляется" — не то слово. На кафедру он, как обычно, взбегает, и, как всегда, нечесаный, со съехавшим набок галстуком и изрядно навеселе. Отбросив в сторону изодранный портфель, он долго сморкается в свой широченный платок и, наконец упрятав его куда-то в карман брюк, говорит: "Ну, что же, коллеги, перейдем к Спинозе, к Боруху Спинозе". И далее: "Борух Спиноза, которого иногда неправильно называют Бенедиктом, был прежде всего сыном своего народа, хотя и известен как создатель философского учения о двух материях: "natura naturans" и "natura naturata". Спиноза тихо и скромно шел на любую жертву, чтобы жить согласно духовной позиции еврейства, сущность которой заключена в знаменитом ответе рабби Гиллеля

язычнику". И дальше Володька рассказывал, как пришел язычник к суровому еврейскому теологу Шаммаю и сказал, что он готов перейти в иудейство, если рабби Шаммай изложит ему основы еврейского вероучения за то время, пока он сможет простоять на одной ноге. Рабби Шаммай прогнал этого человека. Тогда он обратился к рабби Гиллелю. "Почему нет, — ответил рабби Гиллель. — Что ты не хочешь, чтобы делали тебе, — не делай другому. Это все".

Володька цитировал Спинозу на чистейшей латыни, он знал ее в совершенстве, как, впрочем, и греческий, на котором цитировал Фому Аквинского, а однажды, будучи в ударе, прочитал нам на чистом иврите целую страницу из Библии.

Прошло почти четверть века, но так и врезался в память этот суматошный талантливый чудак, а вместе с ним и ушедший от мирской суеты гениальный Спиноза, обладавший великим даром — жить по убеждению.

... А теперь перед глазами желчный старичок с саркастической усмешкой на лице. Он сидит посредине сцены в своем пальтишке, отtороченном мерлушкой и зябко прячет свои вечно мерзнущие руки в рукава. Это — знаменитый Гурвич, бывший правовой консультант Ленина, автор текста первой советской конституции. Предмет Гурвича — ГУБС — Государственное Устройство Буржуазных Стран. В институте говорили: "Сдал ГУБС — жениться можешь".

Любимый конек Гурвича — двухпартийная буржуазная система.

Две партии — это две руки буржуазного государства. Они никогда не уступят и не упустят власть. Но, ловко манипулируя ею, передавая из одной руки в другую, государство умело создает иллюзию свободы и демократии.

Читал Гурвич певучим, петушиным голоском, который обычно тотчас смолкал, как только возникал малейший шумок. Он редко выражал недовольство вслух, но делал это в совершенно убийственной форме. Этот желчный голубоглазый старикашка обладал даром наводить ужас на студентов. И еще более на студенток, считая, по-видимому, свой предмет недоступным для постижения представительницами прекрасного пола. Из уст в уста передавались по институту его афоризмы, некоторые из них не могу не привести: "Ну-с, догогая (вместо "р" Гурвич произносил "г"), не знаю как вообще, а в госудагственном устгойстве бугжуазной Индии вы девственница". Или: "Ставлю вам пять. Два сейчас, а тги — когда пгидете". Не как анекдот, а как сущую правду рассказывали, что он умудрился выгнать с экзамена собственную дочь, да еще бросил ей вслед зачетку: "Вон! Вся в мать, дуга!"

Гурвич тоже окажется безродным космополитом, и мне еще придется о нем говорить. А пока вернемся назад и попробуем понять обстановку, в которой жила страна, жили мы, когда просыпалась в нас жажда действовать на благо Родины.

Итак, 1948 год. Уходила в прошлое война, но в стране все еще царила разруха и людей не покидала бедность. В жизни их не было самого необходимого. Зато в изобилии была сталинская любовь к народу и сталинская ненависть к врагам. Великий вождь учил, что классовый враг не дремлет и по мере приближения страны к коммунизму все более жестокой становится классовая борьба. Газеты звали решительно бороться с пережитками капитализма в сознании людей и с их живыми, не скла-

---

* Зачетная книжка, в которую проставлялись экзаменационные оценки.

дывающими оружия носителями. Их становилось все больше, и в 1948–49 годах они уже плодились, как грибы после дождя, — буржуазные националисты, морганисты-вейсманисты, буржуазные космополиты и прочие герои наших политзанятий. По "странному" стечению обстоятельств у них теперь все чаще оказывались еврейские фамилии.

Я не политик и не берусь судить, какие флюиды ощущала страна в целом, но хочу попробовать понять, как получилось, что мальчики и девочки, только и мечтающие отдать Родине души прекрасные порывы, за какие-то четыре года превратились в истеричных хунвейбинов, подчас терявших человеческий облик. Я не знаю, как шла к ненависти и антисемитизму любвеобильная Россия, но я видел, как шаг за шагом шел к этому мой институт. Впрочем, "видел" — это из лексикона свидетелей, а я, все мы были жертвами этой чудовищной метаморфозы.

ГРОЗНЫЙ МЭТР ВЫШИНСКИЙ

В мае 1948 года в Московском юридическом институте выступил Вышинский. Его пригласили принять участие в обсуждении двух макетов учебников по теории государства и права — один профессора Денисова, другой — Института права Академии наук СССР. Обсуждение проходило бурно, по многим вопросам теории высказывались противоположные точки зрения.

На юридическом фронте уже давно существовали разные направления, представители которых обвиняли

друг друга в буржуазном нормативизме, и прагматизме, и прочих смертных грехах. На кафедрах один за другим появлялись борцы против тлетворного влияния буржуазной юридической науки.

Понятно, с каким нетерпением ждали выступления Вышинского. В зал невозможно было протиснуться, всюду появлялись пробки. Были забиты все проходы и подоконники.

Вышинский говорил четыре с половиной часа. Газеты называли его речь программной. Когда я вышел из зала, у меня разламывалась голова и перед взором все еще стоял этот седой желчный человек с отечным лицом и глазками, сверлящими зал из-под толстых линз очков. Тщетно я пытался привести услышанное в последовательность. Сделать это было невозможно, потому что Вышинский импровизировал. Речь его без конца прерывалась восторженным гулом. В этот день я впервые почувствовал, что значит охваченная экстазом толпа.

Вышинский опоздал на два часа, но не извинился, а лишь усталым голосом сообщил, что только что прибыл с сессии Генеральной Ассамблеи ООН, работа которой была чрезвычайно напряженной и где, кстати, только что было провозглашено государство Израиль. С этого события он и начал речь и еще долго не мог добраться до учебника Денисова.

Советский Союз одним из первых признал государство Израиль, и он, как министр иностранных дел, выражает надежду, что это государство будет проводить миролюбивую внешнюю политику. И еще он, кажется, добавил, что такая политика не только в интересах мира, но прежде всего самого государства Израиль. Пусть живут и другим не мешают!

В моей памяти запечатлелась интонация, с какой было сказано все это, и особенно это великодушное

"пусть живут!" — "Конечно, раз уж на то пошло, мы признаем ваше еврейское государство. Но не забывайте, кто мы и кто вы. Мы — великий русский народ, а вы — всего-навсего евреи. Поэтому не очень-то задирайте нос, если не хотите нажить неприятности".

В своей речи Вышинский громил всех и вся. Казалось, учебник Денисова для него только повод для того, чтобы изничтожить других, находящихся в зале и извращавших в своих книгах и лекциях то, чему он так беззаветно служил всю жизнь.

Начал он глухим болезненным голосом, но, по мере того, как говорил, голос его креп, и его вялое, отечное лицо наливалось краской. И когда он обрушился на главного своего противника, профессора Гурвича, который без конца, "как говорят русские люди, выкаблучивается и выделывает всякие выкрутасы", — лицо его стало бордовым, и, казалось, ничто уже не способно было прервать его речь. "Оказывается, профессора Гурвича не устраивает определение государства, данное товарищем Сталиным, говорившим, что государство есть машина в руках господствующего класса для подавления сопротивления своих классовых противников. Оказывается, трудовому народу вообще больше не нужна такая машина. Да куда же нас, в конце концов, зовут? Может быть, вам, товарищ Гурвич, диктатура пролетариата тоже не нужна? Может быть, напрасно проливали кровь русские рабочие в 1917 году?"

Затем он с тем же темпераментом обрушился на другого своего противника профессора Стальгевича. Начиная с 1938 года Стальгевич всякий раз, когда заходит речь о сущности буржуазного нормативизма, юлит и ловчит, не высказывая принципиальной марксистской позиции... Кому как не нашим недругам служит подобное ловкачество?

Каждую минуту зал взрывался бурей оваций, и сидевший со мной в одном ряду профессор Стальгевич тоже хлопал. И виновато улыбался, точно нашкодивший школяр, пытавшийся своей извиняющейся улыбкой хоть немного смягчить гнев распекавшего его учителя.

Нет, Вышинский был не просто учитель, а беспощадный мэтр, на которого история возложила миссию карать врагов революции и сама История освободила от жалости.

В зале Организации Объединенных Наций Вышинский обязан был выдерживать международный этикет, но теперь в Москве, в Юридическом институте уже мог не стесняться в выражениях, как барин, удостоивший своим посещением задний двор. Громя всех и вся, Вышинский в самых неожиданных случаях вспоминал Израиль, который явно не давал ему покоя. Разделавшись со своими противниками, он повернулся к сидящему в президиуме Денисову и стал выпытывать, где у него в учебнике определение государственной машины.

— В конце,Андрей Януарьевич! В конце... — пробормотал Денисов.

— Ах, в конце! — желчно засмеялся Вышинский. Вы слышите, товарищи, в конце! Может быть, вообще прикажете нам читать учебник справа налево? Но, простите, мы пока не живем в государстве, где читают справа налево. У нас, в России, слава Богу, читают слева направо!

Я не помню, чем он закончил. Кажется, говорил, что ему в жизни необыкновенно повезло, как, впрочем, и всем работникам правового фронта, вооруженным могучим оружием — марксизмом-ленинизмом и борющимся под руководством гениального учителя и вождя товарища Сталина.

Я не знаю, велико ли везение строить карьеру на гибели миллионов невинных людей, но со смертью Вы-

шинскому действительно повезло. Он явно вовремя ушел из жизни.

23 ноября 1954 года Центральный Комитет коммунистической партии и Совет Министров с глубокой скорбью известили, что 22 ноября в Нью-Йорке скончался выдающийся государственный деятель, талантливый дипломат и крупный ученый Андрей Январьевич Вышинский. В газете был напечатан портрет мрачного седоволосого старика с тонкими губами. Публикуемый тут же некролог подчеркивал, что он был "верным сыном коммунистической партии, самоотверженным в работе, исключительно скромным и требовательным к себе". Но все это были уже ничего не значащие слова, ибо люди уже знали цену этому самоотверженному в работе выдающемуся деятелю партии и государства.

Листаю подшивки "Правды" и перечитываю речь Вышинского на процессе так называемого параллельного троцкистского центра в январе 1937 года. Он говорил: "Я обвиняю не один! Рядом со мной, товарищи судьи, я чувствую, будто вот здесь стоят жертвы этих преступлений и этих преступников — на костылях, искалеченные, полуживые... Я не один. Я чувствую, что рядом со мною стоят вот здесь погибшие и искалеченные жертвы жутких преступлений, требующие от меня как от государственного обвинителя предъявлять обвинения в полном объеме.

Я не один! Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь, рядом со мной, указывая на эту скамью подсудимых, на вас, подсудимые, своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили".

Вышинскому нельзя было отказать в красноречии, но то была лишь картина призраков, специально вызванных им в зал суда для того, чтобы отправить на тот свет живых и невиновных.

И вот теперь, спустя более двадцати лет, их тени поднимались из могил, чтобы предать проклятию своего палача. И проживи он еще немного, не избежать ему правосудия. Я знаю, оно свершилось бы, независимо от желания тех, кто действительно скорбел о его смерти.

Но тогда, в мае 1948 года, зал гремел от восторга. И я тоже был им переполнен. И дубасил ладонями даже тогда, когда Вышинский с издевочкой говорил о государстве, где читают справа налево. Что мне до этого Израиля? Жил без него и дальше проживу. Другое дело, моя страна, мой институт...

Назавтра я всем, кому мог, с восторгом рассказывал, что слушал самого Вышинского. Значит, и нам кое-что доверено, если нас приглашают на выступления таких людей.

Выступивший на комсомольском собрании Боровский сказал, что речь Вышинского имеет прямое отношение и к нашему курсу, и он хотел бы посоветоваться с ребятами, в каком направлении вести дальше нашу комсомольскую работу.

Вслед за Эдиком взяла слово Ивочка Перельцвайг и сказала, что ее поражает тон выступления товарища Боровского. Как молодая комсомолка, она считает, что время советов прошло. Пора всем набраться мужества и спросить самих себя, нет ли среди нас таких, кто смотрит не туда и увлекается не тем чем надо. Кажется, именно в эти дни мне пришла мысль заняться делом Ильиной.

Атмосфера в институте явно накалялась. Хотя еще и речи не было о безродных космополитах, и в своей речи Вышинский громил не только евреев Гурвича и Стальгевича, но, повидавший жизнь, зал уже кое-что предчувствовал. Неспроста же оживился растленный Запад, и вместе с ним буржуазные нормативисты. И

какой-то странный ветер подул с Ближнего Востока. И зачем-то появились те, кому не дорога была кровь русских рабочих. Не все было досказано, но столбик термометра явно рвался вверх, и осталось не так уж много, чтобы расставить точки над "и".

КАЮЩИЕСЯ БОЛЬШЕВИКИ

Летом 1948 года произошло событие, после которого я долго не мог найти себе места. Арестовали Сендаха и Летинского. Весть эту принес Генкин. Поздно вечером он заявился ко мне на дачу и от волнения не мог связно рассказать о случившемся. Да и сам он мало что знал. Разве лишь то, что Сендах взят по какому-то страшному обвинению, связанному с нашим литературным салоном, и что назавтра после этого Крыловы увезли Элю и Нелю куда-то на море.

Я решительно не представлял, по какому обвинению могли забрать этого не от мира сего Сендаха, который так легко сочинял стихи и так блестяще читал Пастернака и Ахматову. И тем более, за что взяли головастого добряка Летинского, оставшегося без куска хлеба после закрытия студии Еврейского театра. У меня не могло возникнуть и подозрения, что эти мечтатели могли быть по чьему-то навету обвинены в контрреволюционной сионистской деятельности и что их арест был первым предвестником событий 1949-50 годов.

С сократовским выражением лица "великий математик" ходил из угла в угол по отцовской мансарде и при помощи теории вероятности пытался вычислить, насколько велика возможность нашего с ним ареста. Вероят-

ность оказывалась довольно большой, но меня почему-то занимал совсем другой вопрос — арестован ли вместе с Сендахом и Летинским Жарков.

Вскоре я убедился, что Жарков не был взят. На второй день после начала занятий мы нос к носу столкнулись с ним в раздевалке. Он был по-прежнему членом комитета, выглядел страшно занятым и, увидев меня, лишь едва кивнул головой.

А еще спустя некоторое время с треском сняли директора Московского юридического института Федькина. Доцент кафедры всеобщей истории Гаврила Иванович Федькин был рафинированным интеллигентом и оригиналом. В своих лекциях по истории римского частного права он приводил бесконечные юридические казусы и с помощью них пытался нам втолковать, чем отличаются вещи "res mancipi" от вещей "res nec mancipi". В этих казусах неизменно действовал римский гражданин pater familias Пабло Гелий. И сам Федькин, поджарый блондин с тонким с горбинкой носом и густой белой челкой, спадающей на лоб, был чем-то похож на древнего римлянина. Особенно, когда начинал на латыни цитировать Corpus Juris Civilis императора Юстиниана.

С большинством преподавателей директор был на "ты", старался по возможности все улаживать миром и всякий раз, когда вспыхивал конфликт, приглашал к себе секретаря парткома Иванова и говорил: "Вот, разберись с этими Монтекки и Капулетти, кто тут из них чистый, а кто нечистый".

Сняли Федькина за неправильный подбор кадров, семейственность и еще что-то в этом духе. Директором института был назначен некто Федор Михайлович Бутов, работавший перед этим в ЦК партии Молдавии. Что это за человек, никто не знал. Его появление было окружено ореолом таинственности. Говорили, что он

работал вместе с Маленковым и до сих пор сохранил с ним приятельские отношения и что они встречаются даже семьями.

В отличие от Федькина, который вечно крутился в аудиториях и коридорах, Бутов, как забравшийся в нору крот, почти никогда не вылезал из директорского кабинета. И внешне он тоже был похож на крота. Бритоголовый, с маленькими сонными глазками, он шел лбом вперед, лениво переваливаясь с ноги на ногу и демонстрируя полнейшее безразличие ко всему, что делалось вокруг. Тогда мы еще не знали, что этот человек возглавит крестовый поход против так называемых безродных космополитов в Московском юридическом институте. В стране этот крестовый поход начался несколько раньше.

28 января 1949 года в "Правде" появилась статья "Об одной антипатриотической группе театральных критиков". Крупнейшие театральные критики — Юзовский, Борщаговский, Левин, Гурвич, Варшавский обвинялись в том, что встали на путь преклонения перед буржуазной культурой, принижения роли русского национального театра.

Выступление "Правды" мгновенно подхватили едва ли не все газеты, объявившие критиков-космополитов людьми без роду, без племени. Обстановка накалялась изо дня в день. И обвинения, носившие теперь уже явно выраженный политический характер, становились все более грозными.

В горении политических страстей, в разнузданной истерии и даже в самом стиле газетных статей уже виделись зловещие приметы 37-го года. Вот лишь два небезынтересных свидетельства. Первое — из отчета о судебном процессе над членами так называемого антисовет-

ского троцкистского центра и, в частности, над одним из его руководителей и идеологов Карлом Радеком: "...Он стоит перед судом народа, человек с двойной жизнью, подлый человечек, одной рукой щедро даривший клятвы и заверения в своей верности, а другой — пытавшийся всадить нож в спину революции. Он стоит у барьера и, поблескивая стеклами очков, часто облизывая губы, ведет счет своим гнусным преступлениям, в которых значатся и диверсии, и террор, и взрывы, и отравления".

А вот как в феврале 1949 года "Литературная газета" писала о группе театральных критиков-космополитов: "...Обнаглевшие громилы имели свою штаб-квартиру в ВТО, проникли в редакции газет и журналов. Вместо того чтобы правдиво, без уверток рассказать с трибуны о своей вине перед советским народом, о формах и методах деятельности антипатриотической группы, они юлили и извивались ужом и... цепь сознательно совершенных преступлений изображали как "случайные ошибки".

Будто два действия одного и того же представления. Творческий почерк одного и того же режиссера Мир уже много знает об этом столь часто исполнявшемся перед его изумленным взором спектакле. Мне кажется, что я находился совсем близко от сцены и даже видел болезненные гримасы актеров, которых заставляли играть ненавистные им роли.

В марте 1949 года в Большом зале Юридического института состоялось расширенное заседание ученого совета Института права Академии наук СССР. На нем были подвергнуты уничтожающей критике безродные космополиты в советской правовой науке. Я был в этом набитом людьми зале, на этом совете, скорее напоминавшем суд святой инквизиции, нежели собрание

людей науки. И даже расположившийся на сцене президиум был похож на судейскую скамью.

В первом ряду, среди членов святейшего суда, таких, как директор Института права профессор Коровин, завкафедрой Военно-Юридической академии Чхивадзе, сидел, поблескивая сонными глазками, и новый директор МЮИ Федор Михайлович Бутов. Выступивший с докладом доктор юридических наук Казанцев обрушился на академика Трайнина, профессоров Левина, Строговича, Стальгевича, Шифмана. В своих учебниках они грубо искажали ленинско-сталинское учение о диктатуре пролетариата, восхваляли буржуазную демократию, умаляли роль великого русского народа в истории человечества.

Напрасно "уличенный в ереси" профессор Левин пытается что-то объяснить. Перед лицом святой инквизиции, жаждущей крови еретиков, последним еще никогда не удавалось оправдаться. Его выступление объявляется образцом формального признания, признания отписочного характера.

Проснувшийся вдруг Бутов, блестя своими сонными глазками, бросает ему из президиума — как это он, советский преподаватель, дошел до того, что стал ползать на животе перед буржуазными авторитетами, предал Родину и Россию...

Начиная с марта 1949 года почти каждый день, точнее каждый вечер идут заседания ученого совета Московского юридического института. Двери открыты для всех, и борьба с Иванами, не помнящими родства, идет при массовом стечении публики. Для каждого очевидно, что безродные Иваны — это не более чем газетный камуфляж, неизвестно на кого рассчитанный.

По какой-то случайности в компании космополитов оказался профессор Юшков. Говорили, будто он настолько был возмущен обрушившейся на него несправедли-

востью, что прямо на заседании ученого совета воскликнул: "Товарищи, а меня-то за что, я ведь рязанский!"

Тогда для многих оставалось загадкой, кому и в каких целях понадобилось развертывать в 1949 году столь широкую кампанию против евреев, печатать истерические статьи, в которых презренные космополиты, так же как троцкистские изменники, "юлили и извивались" перед судом народа.

Эта смена ролей и декораций в гигантском сталинском спектакле сегодня уже не кажется случайной. Как не кажется случайным снятие задолго до тридцать седьмого года Каменева с поста предсовнаркома и слова Сталина: "Еврей не может стоять во главе мужицкого государства". Как не кажется случайным обилие еврейских фамилий в числе руководителей так называемых троцкистско-бухаринских блоков. Как не кажется случайным массовое увольнение евреев с дипломатических постов накануне сорок первого года. Как не кажется случайным вообще оживление антисемитизма в конце тридцатых годов и особенно накануне войны...

Мне еще придется говорить об этом в общем закономерном процессе, а пока вернемся в актовый зал Московского юридического института, где при массовом скоплении публики шло разоблачение безродных космополитов.

Присутствие публики лишь подогревало страсти. В те дни после лекций мало кто уходил домой, почти все отправлялись в актовый зал. И я тоже шел туда и, примостившись где-нибудь на галерке, а то и на балконе и изнемогая от царившей в зале духоты, наблюдал за тем, что происходило на сцене.

Громили космополитов по кафедрам. Начиналось обычно с того, что на трибуну поднимался один из руководителей кафедры и в своем вступительном слове

задавал тон. После него один за другим поднимались честные и принципиальные члены кафедры — люди, как правило, мало кому известные, но, судя по их гневным речам, уже давно страдающие от засилия космополитов.

В выражениях эти "честные и принципиальные" члены кафедры не стеснялись. Один из сотрудников Института права, некто Радьков, обрушившись на профессоров Левина и Шифмана, договорился до того, что борьба с безродными космополитами есть борьба за честь и национальную независимость русского народа. Доказательствами были сами фамилии космополитов.

Одно выступление следовало за другим, и,когда спектакль достигал кульминации, слово брали те, кого подвергали критике, то есть сами безродные космополиты. По ходу пьесы они обязаны были признавать все без исключения, что им инкриминировалось. И большинство так и делало: каялись и били себя в грудь, независимо от того, считали себя виновными или нет.

О, сколько раз в жизни видел я эту милую картинку, столь типичную для эпохи Сталина! Маяковский в поэме "Владимир Ильич Ленин" нарисовал фигуру плачущего большевика. Погруженный в горе, стоит он у гроба вождя, и даже слезы его должны свидетельствовать о стальном большевистском характере. Лично я никогда не видел подобных картин, но как символ эпохи, как главное лицо упомянутого выше спектакля стоит перед глазами фигура кающегося большевика.

Все 17 обвиняемых, проходивших по состряпанному органами НКВД делу параллельного троцкистского центра, признали себя полностью виновными и раскаялись на суде в несуществующих преступлениях. Вот последнее слово Пятакова: "Самое тяжелое, граждане судьи, для меня — это не тот приговор справедливый,

который вы вынесете, это сознание, вам и всей стране, что я очутился в итоге всей предшествующей преступной подпольной борьбы в самой гуще контрреволюции — контрреволюции самой отвратительной, гнусной, фашистского типа, контрреволюции троцкистской..."

Подсудимый Сокольников: "Наша программа была антинародной. Мы не могли опереться на массы... Кроме заговора, другого оружия у нас не оказалось в руках... Я не могу не ужаснуться от этой картины, картины наших преступлений".

Подсудимый Шестов: "13 лет я был членом контрреволюционной троцкистской террористической подрывной и фашистской организации... Здесь перед вами, перед лицом всего трудового народа, я в силу своих способностей расстреливал идеологию, в плену которой был тринадцать лет. И теперь хочу одного: с тем же спокойствием стать на место казни и своею кровью смыть пятно изменника Родины".

Ни один театр мира не знал такого вдохновенного и чудовищного спектакля! Подсудимые, сыграв по сценарию следователей НКВД свои трагикомические роли, спускались с подмостков "сцены", чтобы быть расстрелянными в темных тоннелях Лубянки.

Каялись не только узники 37-го года, осмелившиеся выступить против великого Сталина. Каялись и его ближайшие соратники, терпевшие крушения во внутрипартийной борьбе и интригах, каялись вейсманисты-морганисты, буржуазные националисты... Боже, кто только ни каялся, стоя на коленях перед иконами партийных догм! Вожди революции, и убеленные сединами рядовые коммунисты, и совсем еще молоденькие члены ВЛКСМ. Да и меня в годы юности — о чем еще буду писать — не обошла эта участь.

Что за загадка эта фигура кающегося большевика?

Еще Ллойд-Джордж после окончания процесса над участниками антисоветского троцкистского центра в газете "Сенди-экспресс" писал: "Я должен сказать открыто, что очень трудно объяснить столь беспрецедентный феномен. Нет никаких доказательств, что были применены физические меры воздействия на подсудимых. Все иностранные корреспонденты соглашаются на этот счет. Говорят, что подсудимых поили каким-то таинственным снадобьем. Но что это за снадобье? Никто не может указать, как оно называется. Думали, что обвиняемым обещали сохранить жизнь, если они сделают признание. Это неправдоподобно. Быть может, все дело в русской психологии, которая находится вне западного понимания".

Ллойд-Джордж не приблизился к загадке кающегося большевика. Совершенно ни при чем оказалась в данном случае русская психология, находящаяся "вне западного понимания". События культурной революции в Китае, повторившие в азиатском варианте 37-й год, явили всему миру интернациональный характер многих "беспрецедентных феноменов", рожденных эпохой сталинизма.

К концу тридцатых годов на Западе появится человек, который как никто иной приблизится к пониманию многих феноменов сталинской эпохи. Это замечательный писатель, философ и публицист Артур Кестлер, автор романа-бестселлера о 37-м годе "Мрак в полдень", переведенного на 31 язык, но так и оставшегося неизвестным советскому читателю.

Прочитав в рукописи Самиздата потрясающей силы роман неизвестного автора о последних месяцах жизни большевика Залмана Рубашова, которого автор провел со дня ареста до дня расстрела, я тогда еще не подозревал, что роман этот принадлежит Кестлеру.

Узнал это гораздо позже. Уже работая в "Литературной газете", среди материалов редакционного досье я наткнулся на статью Кестлера "Ценности в мире фактов", перед тем опубликованную в журнале "Нью-Йорк таймс-магазин".

То, что было создано талантом Кестлера-художника, теперь получило научное осмысление в исследовании Кестлера-философа.

Кестлер пишет в нем о биологической неполноценности человеческого вида, утверждая, что человек является ошибкой эволюции. Поэтому мы и являемся свидетелями неизбежной деградации личности в тоталитарном государстве. По мнению ученого, суть в особой психологии коллектива, эксплуатируемой тоталитарными системами и ведущей начало с доисторических времен, когда в условиях беспомощности и взаимозависимости первобытных пралюдей зародилось их биологическое стремление отождествлять себя с коллективом.

"Беспомощность человеческого детеныша, — пишет Кестлер, — оставляет в нем след на всю жизнь; этим отчасти объясняется готовность человека подчиниться авторитету коллективов или отдельных личностей, его внушаемость перед лицом доктрин и заповедей, его всепоглощающее стремление принадлежать целому, отождествлять себя с каким-то племенем, какой-то нацией и превыше всего с какой-то системой взглядов. Звуки национального гимна, лицезрение гордо реющего флага заставляют человека чувствовать себя частью восхитительного, любвеобильного общества. Фанатик готов отдать жизнь за предмет своего почитания, подобно тому, как возлюбленный готов умереть за свой кумир".

Не перед следователями НКВД и не перед тяжелейшими пытками, применяемыми в застенках Лубянки, а перед миллионами фанатично настроенных масс, объ-

единенных вокруг догматичных сталинских лозунгов, не могли устоять узники 37 года.

Трагический герой Кестлера, бывший командарм и член ЦК Залман Рубашов, дает свои показания бритоголовому кретину следователю Глеткину с не меньшим "вдохновением", чем это делает один из руководителей троцкистского центра подсудимый Шестов. Отвергнутые массами, и тот, и другой "искренне" считают, что их место — на свалке истории.

Раскаяние здесь — лишь следствие психологического крушения, результат нравственной деградации личности, попавшей в жернова тоталитарной системы. А сам "кающийся большевик", в какой бы ипостаси мы его ни видели — в лице ли троцкиста Пятакова, "верного ленинца" Хрущева или космополита Юзовского, — во всех случаях он остается трагическим и естественным порождением сталинской эпохи.

Но тогда, в 1949 году, я, разумеется, далек был от понимания этого и, потрясенный, наблюдал со своей "галерки", как те, перед чьим умом и талантом я искренне преклонялся, повторяли о себе всю несусветицу, которую возводили на них их "честные и принципиальные" коллеги по кафедре. Но и это были цветочки. Ягодки начинались, когда к делу приступал глава святой инквизиции Федор Михайлович Бутов. Какими бы словами космополит ни бичевал себя, Федор Михайлович считал его все-таки неискренним или недостаточно искренним и, блестя своими сонными глазками, бросал из президиума:

— Вы не морочьте нам голову, вы дайте политическую оценку своим поступкам. Кто вы есть и кому служили своими действиями!

Поскольку человек и сам начинал теряться в домыслах, кто он есть, то в ответ бормотал что-то маловразу-

мительное насчет своего недопонимания марксизма, другие продолжали дальше каяться и обвиняли себя уже в таких грехах, о коих не могли помыслить даже их "честные и принципиальные" коллеги по кафедре.

Но и искренних, и неискренних ждала одна и та же развязка. Последний акт представления обычно происходил за кулисами, и узнавал о них институт из приказов все того же Федора Михайловича Бутова.

Между тем жизнь в институте шла своим чередом, и положительно ничто не могло ее остановить. Казалось, чем более жестоко били космополитов, тем бесшабашнее и веселее были институтские вечера. Точно этим весельем, и звоном бутылок, несущимся из буфета, и грохочущим на все этажи джазом хотели заглушить то, что происходило на ученых советах. На вечерах все были равны: ни космополитов, ни нормативистов, ни "чистых", ни "нечистых".

Молодость не желала ни с чем считаться и брала от жизни свое. Кто только ни приходил на вечера в МЮИ — очаровательные инъязочки, какие-то пышноволосые, в длинных пиджаках стиляги, и совсем еще юные служители и служительницы Мельпомены из Вахтанговского училища и студии МХАТ'а, и всякий раз — масса евреев, и своих, и пришлых, но больше все-таки своих. Отлично одетые парни, анекдотисты и хохмачи, они приводили с собой лучших девочек и вообще задавали тон этому чудесному, пьяному веселью при полупотушенных канделябрах. И еще в МЮИ был лучший в Москве джаз и лучший ударник Жора Касабов.

Для порядка начинал джаз с "Дунайских волн", но тотчас врывалась бешеная линда и еще какие-то ритмы и наконец в разгар вечера — фрейлехс. Тут же выстраивался бешено хлопающий круг, и выплывал из него Валя Ивкер, друг мой и Кленова, главный на курсе хохмач и

к тому же наш постоянный конферансье и куплетист. Обняв пальчиками лацканы пиджака и нежно помахивая платочком, он шел, как король, сверкая белками глаз и улыбаясь прекрасной блаженной улыбкой всем стоящим в круге.

Через секунду выходила его королева, такая же некрасивая, пучеглазая, как Валерка, и, вскинув вверх такой же батистовый платочек, шла следом за ним. Из джаза вдруг выскакивал Жора Касабов и, косолапя своими короткими ножками, тоже шел вдоль круга. А вокруг бешено дубасили ладонями, и я чувствовал, как весь с ног до головы наполняюсь этим сумасшедшим весельем. Все неприятности: космополиты, ученые советы, Бутов, — все отступало перед этим буйным восторгом от звуков фрейлехса, который невозможно передать словами. Если в природе существует голос крови,то, мне кажется, именно в эти мгновения я слышал его.

Я много думал над тем, что отличает еврея от нееврея. Вероятно, многое. Но среди этого многого не стоит ли на первом месте особый и вечно неунывающий дух, без которого трудно представить еврейский национальный характер.

Спустя много лет после окончания института я в качестве корреспондента журнала "Советские профсоюзы" приехал в Биробиджан. Появились мы там в премерзкий дождливый день, и от этого деревянный, стоящий на болоте город казался еще более неприглядным. Проехали из Хабаровска на машине километров 200 и после длинной и утомительной дороги завернули в небольшую "Вареничную". По виду это была одна из тех обычных забегаловок, которые существуют на окраине любого города и куда люди заглядывают лишь от нужды.

На раздаче стояла седовласая курносая толстуха и, ловко орудуя быстрыми, рыхлыми руками, наполняла тарелки. С лица ее не сходила веселая, лукавая улыбка. "Симпатичная какая хохлушка! — подумал я. — И в какую тьмутаракань забралась!"

И тут она открыла рот: "С чем тебе положить, с чем? С вареньем? С ума сошел! Возьми со сметанкой, сметанка просто объедение. Чтоб я так жила, если пожалеешь..."

Через несколько минут я уже знал, что ее зовут тетя Рахиля. Ее мучила одышка, и она, по-видимому, страдала астмой. Но рыхлое, доброе лицо тети Рахили не переставало улыбаться. О, какая это была улыбка! Я взял вареники, и она вдруг залилась глубоким, лающим кашлем, который долго не проходил. Наконец ей стало легче, и, заметив, как я за обе щеки уписываю вареники со сметаной, она вытерла платком рот и торжественно взглянула на меня:

"Ну, что, это можно кушать или нельзя? По-моему, можно, а этот мишигинер взял с вареньем — так пусть ему будет хуже..."

По крыше барабанил дождь. В окно было муторно глянуть. Неужто люди могли жить в этих местах? Оказывается, могли, и эта старая астматичка тетя Рахиля, неведомо когда и как попавшая на эти топи, пекла себе вареники со сметаной и радовалась жизни.

А тогда я сидел в актовом зале МЮИ и думал: "Неужто не найдется такой, кто взбунтуется и плюнет своим мучителям в физиономию?" Нашелся — все тот же Георгий Семенович Гурвич, великий правовед и великий женоненавистник...

Настал день, когда он как безродный космополит должен был предстать перед ученым советом. Слух об этом пронесся по институту мгновенно, и в актовый

зал невозможно было пробиться. В качестве "честного и принципиального" коллеги Гурвича по кафедре выступал недавно окончивший аспирантуру доцент Судариков, который тут же умудрился отмежеваться от своего научного руководителя профессора Стальгевича. И не только отмежеваться, но и обрушиться на него с сокрушительной критикой. Закончил Судариков довольно странным заявлением. "В зале собралась масса студентов, чтобы устроить овацию профессору Гурвичу. Так надо им разъяснить, какой вред советской правовой науке нанес этот космополит и псевдоученый".

Позже ходили слухи, что Гурвич разгромил ученый совет, сравнял с землей антисемита Бутова. Ничего подобного не произошло. Просто этот желчный, гордый старик в свои 65 лет не смалодушничал и остался самим собой даже перед лицом гражданской смерти (так что у "закона" Кестлера, по-видимому, есть свои исключения) .

"Тут доцент Судагиков заявил, что меня явились пгиветствовать студенты, — начал он, поднявшись на сцену и не снимая, как обычно, пальто, — никогда не думал, что являюсь кумигом студентов. Доцент Судагиков, как всегда, понял что-то наобогот. Ведь понимал же он наобогот в течение десяти лет своего учителя безгодного космополита Стальгевича".

Зал оживился. Проснувшийся Бутов загремел стеклянной пробкой по графину. Было ясно, что Гурвич не расположен каяться. Все с той же саркастической усмешкой он долго перечислял инкриминируемые ему обвинения и даже вспомнил свой образ насчет "двух рук", которые Судариков квалифицировал как лживое умиление двухпартийной системой. Когда говорил, то смотрел не на Бутова, как прочие, а куда-то в зал, поверх голов, и называл его не Федором Михайловичем, как

прочие, а в третьем лице — директор Бутов. Тот, разумеется, не выдержал и оборвал его:

"Что вы там морочите голову: буржуазная демократия, две руки, голова... Где у вас классовый подход? Скажите прямо, что не знаете истории партии!"

"Да, конечно, — улыбался Гурвич, — я не знаю истогию пагтии. Дигектог Бутов знает ее и потому не сегодня-завтга станет кгупным ученым, а я, как невежда, уйду восвояси. Что ж, пожелаем дигектогу Бутову успехов на твогческом попгище...".

Назавтра профессора Гурвича сняли с работы и исключили из партии, а еще через несколько лет он умер, безвестный и забытый всеми, создатель первой советской конституции.

ДЕЛО
АЛИКА БАКМАНА

В те дни опустели многие кафедры. На место стариков приходили зеленые аспиранты, которых в пожарном порядке остепеняли и ставили читать лекции.

Между тем меня не покидала мучительная мысль, кто же непосредственно был инициатором этой охватившей страну антисемитской кампании. Сталин? Это не укладывалось в голове. В моих глазах Сталин был великий марксист и великий государственный деятель. У него была железная рука. Во имя революции он, конечно, допускал перегибы, как это, возможно, было в 1937 году, но не мог же Сталин пасть до оголтелого антисемитизма. Может быть, его окружение, например, Маленков, о ком ходили самые зловещие слухи? Сосредоточив в своих руках колоссальную власть орг-

секретаря ЦК, Маленков, возможно, ввел в заблуждение 70-летнего Сталина и развязал в стране эту черносотенную кампанию.

Поразительная логика жила в умах людей — иногда мне кажется, что с ведома самого вождя насаждалась она в народе.

В 1929 году гениальный Сталин возглавил в стране гигантскую работу по коллективизации сельского хозяйства. Сталинский план открывал возможность для построения в деревне социализма на основе ликвидации кулачества как класса. Но левые, окружавшие вождя, допустили ряд перегибов и вместе с кулаками стали ликвидировать середняков. С присущей ему мудростью Сталин вовремя пресек эти перегибы, опубликовав в "Правде" статью "Головокружение от успехов".

В 1934-37 годах великий вождь возглавил борьбу партии против врагов народа. Благодаря ему было окончательно разбито троцкистско-бухаринское охвостье и страна смогла успешно завершить пятилетки. Но в ходе этой жестокой классовой битвы были снова допущены перегибы, виновником которых на этот раз оказался злоупотребивший сталинским доверием нарком внутренних дел Ежов. Великий Сталин и тут вмешался. Своевременно покончив с арестами невинных людей, он убрал маньяка Ежова.

Не случилось ли то же самое с космополитизмом, борьба с которым в начале 50-го года уже начала свертываться? Ходили упорные слухи, что Сталин ничего плохого не хотел, был движим благородным намерением поднять роль отечественных достижений, но кто-то, скорее всего, Маленков, опять злонамеренно вмешался. И теперь за это как следует ответит.

Говорили, что некоторые из числа особо рьяных борцов с космополитизмом уже добрались до Эрен-

бурга, но вот тут-то и вмешался Сталин. Слух о легендарном сталинском звонке, когда вождь якобы лично поблагодарил Эренбурга за удовольствие, доставленное его "Бурей", обрастал все новыми версиями.

Высказывались предположения, что со дня на день космополитов начнут восстанавливать на работе. Желаемое явно принимали за возможное. И хотя борьба с космополитами как будто бы поутихла, антисемитизм нарастал, и это была не просто сила инерции.

В 1950 году, как никогда со времени войны, обострилась международная обстановка. Газеты были полны карикатур, изображающих воинствующего дядю Сэма, готовящего нападение на СССР. Военкоматы слали призывникам повестки. Чиновники даже самых штатских министерств надели форму и погоны. В ВУЗах расширяли военные кафедры. Отныне они были обязаны готовить без отрыва от учебы офицеров запаса.

В МЮИ военную кафедру возглавлял генерал-майор Невский. На одном из партийно-комсомольских активов он бросил девиз:"Овладение военным делом не менее важно,чем овладение гражданским и уголовным правом".

Стенгазета "Советский юрист" опубликовала фельетон "Жора с Брода" и подвергла сокрушительному разгрому институтский джаз и его бессменного ударника Жору Касабова.

Неожиданно оживились наши "лбы", вдруг начавшие во всем проявлять необыкновенную активность. Главный наш "лоб", староста группы Волченков, теперь всякий раз брал на политзанятиях слово, когда заходила речь о войне. И однажды ни за что ни про что обрушился на крикуху Клейдман. Кто-то из выступавших вспомнил битву на Курской дуге, и Китя по своей всегдашней

привычке продекламировала: "Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя..."

"А что, действительно были, — вдруг взорвался Волченков, — и не вам судить об этом, товарищ Клейдман. Если такие, как вы, будут судить о том времени...".

Но что произойдет, если такие, как Китя, станут судить о войне,он не досказал, а вдруг смутился и попросил у руководителя политзанятий прощение за то, что погорячился.

Парторгом у нас тогда был фронтовик Аркаша Левинсон. За мягкость характера его звали Каденькой.

Свое назначение Каденька видел в том, чтобы в группе все улаживать миром и каждого из "лбов" звал ласкательным именем (Волченкова — Коленькой, великана Федю Артамонова — Федюшей, однорукого Васю Родионова — Васильком). Теперь все они начали вдруг предъявлять к Каденьке претензии, что уж очень он миндальничает с комсомольцами, которые, по словам Волченкова, явно разболтались.

Устроили собрание, где Каденька по-отечески пожурил меня за мягкотелость по отношению к некоторым товарищам, например, к товарищ Клейдман, но в конце концов от имени партгруппы выразил уверенность, что Витя (то есть я), как комсорг, эту критику учтет и дисциплину среди комсомольцев подтянет.

Было это последнее собрание перед весенней сессией, и через неделю после окончания экзаменов курс почти в полном составе выехал в военный лагерь в Ковров. Там под началом офицеров и курсантов местного пехотного училища мы должны были в течение трех недель пройти военную практику в полевых условиях.

До Коврова ехали в солдатских теплушках. На станциях пили пиво и, выглядывая из вагонов, под стук колес весело горланили песни.

Когда прибыли на место, нам выдали военное обмундирование, разбили по взводам и отделениям и поселили в брезентовых палатках. Командиром нашего пятого отделения был курсант-нацмен, трехсаженный верзила с узкими щелками глаз. Говорил он рыкающим, простуженным басом. Сколько мы ни выспрашивали его имени, он так и не назвался, и мы прозвали его Чукчей.

Каждое утро в 6.00 Чукча с сонным лицом врывался в палатку и хрипло рычал: "Отделение, подъем! Кто еще дрыхнет, едрена вошь!"

Шуток он не понимал совершенно, и единственно, с кем Чукча находил общий язык, был его заместитель Волченков. Звал он его почему-то Волков и без конца поучал: "Ты их гоняй, ихтилегентов, пусть знают дисциплину!"

Чукча был типичный дебил, но дебил с инициативой. В первый же вечер он объявил, что ставит отделению задачу — занять по воинской выправке первое место в роте его командира лейтенанта Качугина.

Ничего более фантастического нельзя было придумать. На утреннее построение мы обычно выходили последними. Первым в строю стоял известный на курсе пижон и стиляга Вова Воронцов. Сын замминистра электропромышленности, в институте он только и делал, что менял свои всегда великолепно сшитые костюмы, которые заказывал в закрытых ателье. В лагере он сразу же потерял институтский лоск. С него все съезжало — галифе, ремень и даже пилотка с его большой курчавой головы.

Идущий за ним по ранжиру Кленов из-за появившихся на ногах мозолей вообще перестал выходить на построение. У меня при команде "на плечо" без конца заваливалась винтовка. Даже Каденька утратил оптимизм и

под тяжестью лагерной амуниции тащился, едва передвигая ноги.

Все это и привлекло к нам внимание командира роты лейтенанта Качугина. Во всем зеленом, худенький и прямой как стрела, он был похож на оловянного солдатика. Даже командовал он особым оловянным голосом: не "кругом", а "крю-гом!" Не "шагом марш!", а "шэгом мэрш!" Не "быстро", а "би-стро!".

Глядя на него, я едва сдерживал смех, так же, как не мог без улыбки видеть рычащего Чукчу. Я был уверен, что Чукчей и Качугиным надо родиться. В отличие от них, я был прирожденным штатским, и тут уж ничего не поделаешь.

На второй или третий день Качугин приказал мне за какую-то оплошность выйти из строя и на солнцепеке устроил персональную муштру: "Встать!", "Бэгом!", "Встать!", "Бэгом!" — кричал он. "Солдат Пелерман, ви на службе, а не дома с папой и мамой".

В тот второй или третий день, когда Качугин, муштруя, согнал с меня десять потов, я думал о нашей психологической несовместимости. Но вскоре понял, что все обстоит куда проще.

Однажды во время ночных занятий мы лежали в окопе. По соседству со мной расположился нескладный и длинный как каланча Паша Зак. Как и меня, Качугин не взлюбил его с первого взгляда.

Во время строевой Паша всегда плелся в хвосте, был очень рассеян и вечно где-то терял штык от винтовки. К тому же он еще обожал философствовать:

"Лагерь? Очень он нам нужен, этот лагерь, жили без него и неплохо себя чувствовали..."

Лежа в окопе, мы прислушивались с ним к каждому шороху. С минуты на минуту ждали команду лейтенан-

та Качугина, расположившегося в том же окопе по соседству с нами.

Была великолепная звездная ночь. Лейтенант не спеша закурил и, вдруг улыбнувшись, сказал:

"Ну-ка, Зак, бэгом, покажи, как еврейский народ воевать умеет!"

Наутро оскорбленный Паша отправился к начальнику училища. По иронии судьбы он тоже оказался евреем и даже с фамилией Гак. Он сказал, что во всем разберется и кое-кого примерно накажет.

Вечером лейтенант пришел к Паше в палатку и стал укорять его за то, что Паша не понимает шуток и теперь у него, Качугина, может быть испорчена вся жизнь.

"Хорошенькие шуточки", — скорее, уж для вида ерепенился Зак. Он был добрая душа и тотчас все простил своему обидчику. Однако сам Качугин ходил мрачный как туча, не переставая гонял нас. Он явно искал случая отыграться, и вскоре такой случай представился.

В одно из воскресений — было оно на редкость жарким — мы, сбросив амуницию, всем отделением отправились купаться. Разделись, блаженно разлеглись под кустиками и не заметили, как из-за бугра вылезла грозная фигура нашего Чукчи. Он что-то гаркнул, все с хохотом бросились врассыпную. Я тоже умчался и сам не заметил, как, миновав поляну, оказался на опушке, метрах в трехстах от пруда. Я даже не почувствовал, что именно за мной гнался Чукча.

В тот же день он доложил о происшедшем Качугину. Допрашивал тот меня, стоя в своей любимой позе, заложив за спину руки и расставив чуть шире плеч сапожки.

"Так, так, значит, бежали? А куда ви бежали, Пелерман? Стыд! Позор! На передовой за это знаете, что бывает? Висшая мера! Но и я, Пелерман, это тоже так не оставлю".

Угрозу Качугина, этого затрапезного скалозуба, я и не думал воспринимать всерьез, как не принимал всерьез всю лагерную эпопею. С первого же дня наше пятое отделение настроилось на юмористическую волну. История, как я бежал от Чукчи, тоже была приключением, я ее забыл в тот же час, когда мы сбросили лагерные дерюги и, как дикари, обретшие свободу, штурмом взяли пассажирский состав, следовавший в Москву. Через неделю мы с друзьями уже загорали в Сочи.

До чего ж я был наивен! Шел пятидесятый год, и, поварившись в Юридическом институте, да еще будучи комсоргом, я, конечно, должен был понять, что значит в те дни военный лагерь. Как позже шутил Паша Зак: "Если температура воздуха достигает 99 градусов, то всегда найдется соломина, из-за которой вспыхнет пожар, и уж конечно сыщется еврей, которого можно будет во всем обвинить".

Запах гари я почувствовал уже 1 сентября, когда, загорелый как негр, явился в институт. Собственно, ничего серьезного не произошло. Просто среди прочих ходили слухи, что некоторые из третьекурсников опростоволосились в военном лагере. Наш поток "Б" даже не называли, а называли поток "А".

Там некто Бакман, оказавшись на сборах, напоролся на крупный скандал. Что именно за скандал, стало известно через несколько дней, когда на втором этаже появился экстренный номер стенгазеты "Советский юрист". Почти полномера занимало разверстанное на три колонки "Открытое письмо комсомольцев четвертого курса "А" бывшему своему товарищу Александру Бакману". Письмо было подписано секретарем бюро ВЛКСМ Лией Кутаковой. Я знал ее по выступлениям на комсомольских конференциях. Она была фронтовичка, со следами ожогов на подбородке и двумя кренделями косиц на

затылке. Говорила она резко, всегда и во всем требуя самых наистрожайших мер.

"Хотим тебе сказать в глаза — ты трус и подлец, наш бывший товарищ Бакман!" — писала она теперь в открытом письме. Далее говорилось, что Бакман отказался выполнить приказ командира, а когда командир потребовал объяснений, как же он будет вести себя в армии, Бакман цинично ответил, что он ни в какую армию идти не собирается.

Вскоре стали проясняться кое-какие детали. Оказывается, приказ касался не службы, а выпуска стенгазеты, редактором которой как человека писучего назначили Алика Бакмана, и вообще он не отказывался идти в армию, а имел в виду лишь службу в кадрах. Но по накаляющейся изо дня в день обстановке было уже ясно, что судьба его предрешена.

Особенно неистовствовали наши "лбы". Волченков, когда прочитал "Открытое письмо", сказал, что, будь его воля, он стрелял бы таких, как этот Алик. И между прочим добавил, что и в пятом отделении тоже были свои Алики.

Я чувствовал, что тучи сгущаются и надо мной, но не ожидал, что гроза разразится так быстро и с такой ужасающей силой. Через неделю после появления "Открытого письма" Бакмана исключили из комсомола.

Собрание шло больше пяти часов. Бакмана называли изменником и сравнивали с презренным Стаховичем, выдавшим врагу молодогвардейцев. И уж вопреки всякой логике, приняли решение послать письмо в военкомат с просьбой немедленно призвать Бакмана в армию.

Наутро вышел приказ об исключении Бакмана из института. Тем же приказом за нарушение воинской дисциплины в лагерных условиях мне, Кленову и Паше Заку объявлялось по строгачу.

В перерыве ко мне подошел Эдик Боровский и сказал: "Витя, зайди после лекции на бюро, потолковать надо". Когда я вошел, все уже были в сборе, и Боровский, как всегда с извиняющимися глазами, сказал: "Ты знаешь, Виктор, мы тут посоветовались. Сердись не сердись, а на комсомольской работе тебе оставаться нельзя: бежал от командира и прочее, в общем, сам понимаешь..."

Назавтра сняли с парторгов Каденьку Левинсона. В день комсомольского собрания вышла стенгазета, и во весь лист на ней красовалась карикатура: богатырь-солдат у пограничного столба, а за его спиной трусливо бегут во все лопатки три низеньких длинноносых личности.

Собрание, как обычно, открыл Боровский, не изменивший и на этот раз своего спокойного дружеского тона. Доложил суть дела и в заключение обратился ко мне:

"Собранию, Виктор, интересно знать, как ты сам расцениваешь свой поступок?"

Это было так сказано, что на мгновение у меня мелькнула мысль: "Может, все и обойдется!" Я начал объяснять, что вовсе не имел в виду бежать от командира, и тем более дезертировать...

"А нас не интересует, что вы имели в виду!"—услышал я из зала, но даже не успел заметить, кто именно выкрикнул, как из президиума вмешалась Ивочка Перельцвайг и потребовала, чтобы я говорил по существу.

Не понимая, что от меня хотят, я сказал, что был очень жаркий день, и мы всем отделением решили пойти на пруд искупаться. С Чукчей, конечно, получилось нехорошо, но разве логично из-за этого обвинять меня в трусости и дезертирстве.

"А ты, Виктор, не учи нас логике, — поднялся Боровский. — Мы ее сами проходили".

"Но я же должен что-то объяснить...".

"Хватит, он не искренен!" — неслись голоса из зала. Даже слова мне бросались те же, что еще недавно употреблял я сам.

Когда я кончил, поднялся Боровский и сказал, что собрание не удовлетворено выступлением товарища Перельмана (впервые в жизни он назвал меня по фамилии) и требует, чтобы я дал политическую оценку своему поведению. Это был уже лексикон Федора Михайловича Бутова. Я хотел что-то ответить, но в президиуме снова вскочила Ивочка Перельцвайг, вскинула вверх свое раскрасневшееся личико и сказала, что она до того возмущена моим поведением, что вообще не находит слов и вносит предложение исключить меня из комсомола. "Мы не можем дольше этого терпеть, — устрашающе звенел ее голосок, — понимаете, товарищи, не можем!"

Зал замер. Со всех сторон на меня смотрели холодные, отчужденные лица. Одно неудачное слово — и меня разорвут в клочья.

"Ну, так как, Виктор, ты что-нибудь скажешь своим товарищам?"— услышал я снова голос Боровского в замершем зале.

"Да, скажу!" И я стал говорить, что, оказавшись в военном лагере, проявил малодушие и трусость и допустил политическую близорукость и что сейчас мне стыдно смотреть в глаза своим товарищам. Но если они все же поверят мне и оставят в комсомоле, то я не пожалею сил, чтобы смыть с себя это грязное пятно.

Я презирал себя, но мне казалось, что нет другого выхода.

Я не знал тогда, что пройдет еще несколько лет, и жизнь меня снова поставит в подобную же ситуацию, разве лишь опасность будет на этот раз серьезнее. За один из своих фельетонов, опубликованных в газете "Труд", я, уже будучи кандидатом КПСС, предстану

перед высшим партийным судом — Комитетом партийного контроля при ЦК КПСС. Сам председатель КПК Шверник будет требовать от меня того же — политической оценки своего поступка, то есть, чтобы, утратив чувство собственного достоинства, я бил себя в грудь и черное называл белым. Шверник будет говорить, что я ничего не понял и что мне вообще не место в партии, но на этот раз я уже не изменю себе, как тогда, на комсомольском собрании в институте.

Мне влепили строгий выговор с предупреждением. Главным пунктом обвинения была моя политическая незрелость, проявленная в условиях военного лагеря. Казалось, что вся жизнь теперь пойдет прахом.

В институте только и говорили о распределении — кого куда пошлют, кому какую дадут работу. А на что мог рассчитывать я со своей политической незрелостью?

К тому же мне не было присвоено офицерского звания. Все стали младшими лейтенантами запаса. В моей учетной карточке было записано: "офицер пехоты без звания". Это значило, что в любой момент меня могут призвать в армию, а уж в военный лагерь угожу обязательно.

Но ни в армию, ни в военный лагерь я не угодил. Из военкомата мне в течение нескольких лет слали грозные повестки явиться на переучет со всеми документами и каждый раз там качали головами, не зная, что со мной делать. У этих повесток была одна особенность: они появлялись всякий раз, когда меня обступали со всех сторон неприятности. Кончилось все весной 1958 года. Едва не вылетев из партии, я пятый месяц подряд безрезультатно искал работу. Формулировка партийного выговора была такой, что впору было лезть в петлю. К тому же я потерпел крушение в любви. Тяжело заболел отец. Из-за какой-то ерунды сосед по квар-

тире, пенсионер и старый шизофреник Чекмарев, подал на меня заявление в суд. Так вот, утром в день суда я обнаружил в почтовом ящике повестку в военкомат.

Третья часть, куда меня вызвали, представляла собой маленький темный закуток. В квадратное оконце была вмонтирована клеть, делающая закуток похожим на тюремную камеру. Сидевший за столом капитан даже не взглянул в мою сторону. Он кивнул на табуретку и стал молча листать мое дело. Странным голосом он не переставая повторял довольно странную фразу: "Так, так, Пилерман, понятно, Пилерман". Этот тип явно не предвещал ничего хорошего, и я вспомнил, как отец однажды рассказывал, что НКВД предпочитал брать людей не дома, а либо в учреждениях, в кабинетах руководителей, либо в военкоматах. И в этот самый миг капитан, поднявшись во весь рост из-за стола, крикнул: "Встать!" Я опешил и подумал: "Все!"

"Товарищ Пилерман, приказом министра обороны СССР за № 1466 вам присвоено звание младшего лейтенанта пехоты. Поздравляю!"

Назавтра мой шизофреник забрал заявление из суда, а еще через неделю я устроился наконец на работу в многотиражную газету "За рулем автомобиля". Отец пошел на поправку — словом, после длинной цепи неудач в жизни наступил просвет.

Что же касается комсомольского строгача, то он был снят еще в институте. Помогла мне сама судьба — приближались выборы в Верховный Совет СССР, и на избирательном участке, который обслуживали агитаторы из Юридического института, баллотировался товарищ Сталин.

Накануне выборов нас собрали в актовом зале, и секретарь парткома Иванов сказал, что завтра весь институт будет держать политический экзамен. Первым

показателем нашей работы, то есть работы агитаторов — среди которых был и я, — станет высокая гражданская активность трудящихся района.

Я до сих пор удивляюсь, как мои избиратели — жители одного из домов на Пресненском валу — не выгнали меня в три шеи, когда в их единственный воскресный день я заявился к ним в четверть восьмого утра. Без четверти восемь я доложил руководителям агитколлектива, что мои квартиры уже выполнили свой гражданский долг.

Кругом поздравляли. Говорили, что теперь уж наверняка с меня снимут выговор. К своему разочарованию, я занял на участке лишь второе место. Квартиры агитатора Мамута проявили еще большую гражданскую активность и проголосовали в 7.30 утра. Впрочем, для этого у его избирателей были не менее веские причины, чем у моих. Леня Мамут намеревался подать заявление в аспирантуру и для этого должен был получить блестящую рекомендацию бюро ВЛКСМ.

В аспирантуру Мамут не попал, а попал вместе со мной и другими нам подобными в список оставшихся без распределения

ПЕРЕД ЗАКРЫТЫМ ШЛАГБАУМОМ

...И вот сдан последний госэкзамен. На дворе великолепный майский день. В кабинете все того же Федора Михайловича Бутова заседает комиссия по распределению молодых специалистов. Те, кто ждет вызова, толпятся у дверей, обрушиваясь с вопросами на каждого, кто выходит из кабинета.

Я помню, как вместе со своим женихом Володей Петровым, тоже членом комсомольского бюро, стояла у дверей осунувшаяся от треволнений Ивочка Перельцвайг. О чем она думала? Возможно, о том, что оставила в институте кусок жизни и что, решая ее судьбу, не могут не принять это во внимание. Я лично больше всего боялся, что мне вспомнят военный лагерь и мою "политическую незрелость".

Но никому из нас в те дни еще не могла прийти в голову мысль, что наши судьбы были предрешены задолго до распределения.

Еще недавно ходили слухи, что всех нас оставят работать в Москве, ведь прежде всего столицу нужно укреплять кадрами с высшим образованием. В судебно-прокурорские органы пошлют проявивших себя на общественной работе, и не на последнем месте будет учеба и диплом с отличием. Такой диплом должен был получить и я.

Как выяснилось, ничто подобное не интересовало комиссию, а единственно, что ее интересовало, — это анкета, точнее ее "пятый пункт".

Разумеется, в сорок седьмом году, когда набирали курс, столь решающую роль "пятого пункта" еще не предвидели. Поэтому процедура распределения явно напоминала распродажу с молотка уцененных вещей. Хоть покупатели и пришли на этот торг, но уж слишком неходовой товар им пытались всучить, чтобы они могли раскошелиться и приобрести его.

В кабинете Бутова сидели представители многих учреждений — от КГБ и Министерства иностранных дел до Госарбитража и адвокатуры. И все должны были "наторговать" себе хороших специалистов. Таких скучных "торгов", вероятно, еще не знал мир.

Председатель комиссии зачитывал анкеты — Перельцвайг, Перельман, Гофштейн, Стерник, Львович...

Надо отдать ему должное, что делал он это вполне добросовестно, подчеркивая интонацией достоинства каждого — участник Великой Отечественной войны, член комсомольского бюро, закончил с дипломом с отличием.

Но, имевшие на этот счет инструкции, представители организаций не проявляли ни малейшего интереса. Они позевывали, читали газеты, иногда выходили покурить. Для них все были равны. И принципиальная комсомолка и неутомимая общественница Перельцвайг вызывала у них ничуть не больше эмоций, чем политический недоросль и нарушитель воинской дисциплины Перельман.

Мне было сразу объявлено, что госкомиссия лишена возможности подобрать для меня работу по специальности. Обрадованный, что не вспомнили лагерь, я быстренько подписал бумагу, что берусь найти для себя работу сам.

С такими, как Ивочка, было иначе. Кадровик Министерства просвещения, учитывая рекомендации общественности, любезно предлагал им Омск или Сахалин. После чего разыгрывалась сцена, напоминающая игру в поддавки. Молодой специалист начинал горячо объяснять, что в принципе он готов ехать туда, куда пошлет Родина, но ни Омска, ни Сахалина по таким-то причинам принять не может. А кадровик и не думал настаивать, чтобы выпускник ехал туда, куда пошлет Родина. Он, судя по всему, был даже рад такому повороту событий. И на столе появлялась все та же стандартная бумага, а именно, что товарищ такой-то берется подыскать для себя работу сам и никаких претензий к государственной комиссии не имеет.

Думаю, что ни одни торги мира не знали таких "изы-

сканных", "рафинированных" запросов. Чтобы получить приличную работу, требовалось иметь не просто хорошую, но идеально чистую анкету.

Ивочкин жених Петров имел все данные, чтобы идти нарасхват, — участник войны, активный общественник, великолепно сдал экзамены. Как минимум, его ждала прокуратура Союза. Но незадолго до распределения отдел кадров установил, что фамилия матери Петрова была Гиндина. Это сразу же снизило его шансы. Вместо прокуратуры Союза ему была предложена коллегия защитников города Калуги, куда вскоре и выехали молодожены Петровы. Он адвокат, а Ивочка — калужский нотариус.

Это были бурные дни, со слезами, с сердечными приступами, но, конечно, и не без юмора. Чересчур уж рьяно изучала комиссия наши родословные и выискивала нечистых.

Выискала среди них стопроцентного славянина и весельчака Володю Виноградова. Я встретил его, изрядно выпившего с горя, возле директорского кабинета. Увидев меня, он бросился навстречу:

"Нет, ты послушай, что творят! Читают анкету — полный ажур! Фамилие — Виноградов, имя — Владимир, отчество — Иванович. А работки для вас, Владимир Иванович, нету! Это почему, спрашиваю, нет? Для русского парня, думаю, чтобы работы не было. А вот нет, и все! А сейчас выпил, и осенило: отчим-то у меня Моисей Григорьевич. Правда, умер восемь лет назад, а все равно Моисей Григорьевич! Царство ему небесное, хороший был человек, а какой сюрприз подстроил!"

Зато уж если человек был чист, перед таким распахивались все двери. Из-за нашего главного "лба" Волченкова на комиссии разгорелся целый сыр-бор: кому его заполучить. На него одновременно претендовали три

ведомства — СОВМИН, КГБ и прокуратура Союза. Представитель аспирантуры, и тот заявил, что, несмотря на недостаточно высокий уровень оценок, Волченков может быть допущен до экзаменов и, следовательно, может войти в мир науки. Так что, какими бы скучными и вялыми ни были торги, "настоящий товар" не залеживался.

На двери бутовского кабинета висело два списка. В первом, сравнительно небольшом, — против каждой фамилии стояло "да". Это означало: "согласен с назначением и получил работу" — в этом списке были русские. Во втором, очень длинном, стояло "нет", то есть не согласен и остался без распределения. В этом — были евреи.

И все наши страсти, борьба, мечтания — все вдруг оказалось ничего не значащим и никому не нужным перед этими двумя списками, перед этим "да" и "нет". Уже тогда они звучали как символ нашего будущего: открыт шлагбаум, закрыт шлагбаум! Это было главным. Все остальное — детали. Но потребовались десятилетия, чтобы не только понять, но каждой клеточкой почувствовать эту истину. Как в детской игре "да и нет не говори", этого не произносили вслух, но всегда имели в виду те, кто открывает шлагбаум.

... Вот сидим спустя 20 лет в ресторане "Метрополь" — судьи, прокуроры, адвокаты, литераторы, выпускники МЮИ 1951 года.

Заместитель прокурора республики генерал Клочков галантно ухаживает за адвокатессой Ривеккой Перельцвайг, а сам Петров, по матери Гиндин, сидит с совершенно седым уже нашим "лбом" Волченковым.

Все здесь друзья-приятели, съехавшиеся в столицу, чтобы, быть может, в последний раз повидаться, вспомнить молодость. Выпиты первые рюмки, и слышу из-за спины знакомые речи.

"Как там, у вас на Украине, "с пятым пунктом" бьют жидов?"

"А то как же, на том стоим!"

Обоих знаю в лицо, да вот только забыл фамилии. Одного, кажется, Аркашка Квитковский, другого, хоть убейте, не помню. А вот еще голос и над самым ухом:

"Говорят, на весну еще три процесса намечают: в Кишиневе, Одессе и Риге, не слышал?"

Боже, как будто и не прошло двадцати лет!

Справа от меня сидит Кленов. С ним наши пути уже давно разошлись. Ему ничего не надо говорить, за него говорят его грустные, бархатные глаза все с теми же длинными ресницами.

"Что, Виктор Борисович, стареем", — улыбается он мне. Кленов, как всегда, старается выглядеть оптимистом, точь-в-точь таким, каким был 20 лет назад, в мае 1951 года.

На комиссию по распределению он вошел впереди меня и вышел, как всегда, веселый и самоуверенный.

"Ну, как Юрий Михайлович?"

"Плевали мы на них, Виктор Борисович, с Эйфелевой башни, пока батька жив, плевали".

Знал бы он, как кощунствует, говоря с эдакой легкостью о жизни отца, которому с того дня осталось жить немногим более месяца.

Задолго до дня распределения сына подполковник КГБ в отставке Соловейчик-Кленов начал обходить знакомых генералов на Лубянке с просьбой куда-нибудь пристроить сына, оканчивающего Юридический институт. Можно представить, что пережил старый чекист на этих аудиенциях.

Думаю, что этого наивного шестидесятилетнего ребенка что-то роднило с Ивочкой Перельцвайг, да и со всеми нами, готовыми лбом прошибать закрытые шлагбаумы.

Через месяц после распределения сына Михаил Яковлевич свалился с тяжелейшим инфарктом.

На могиле его товарищи чекисты говорили о нем прекрасные слова и клялись, что не оставят его сына без помощи. Но кончилось тем, что Кленов, отчаявшись найти в Москве работу, с величайшим трудом выхлопотал себе Конашский район Архангельской области и, оставив в Москве одинокую старуху мать, протрубил там почти три с половиной года.

С тех пор утекло немало воды. Сейчас Кленов литератор, хотя и не такой удачливый, как бессмертный Конан-Дойль. Стал он главой семейства, выпустил три книги, но ходит, как и в годы молодости, в долгах как в шелках.

Да, за 20 лет иные неплохо устроились. Иные даже пробили лбом шлагбаумы. Но не мог я отвязаться от мысли, что живут эти шлагбаумы внутри каждого из нас.

Генерал Клочков поднимает тост за институт, за нашу работу. Все встают, чокаются. И замдиректора почтового ящика Волченков, не выдержав, горланит на весь хрустальный зал: "Гип-гип, ура!"

"Ура!" – слышу сильный голос Ривекки Перельцвайг.

"Их вейс, ура так ура", – это уже Паша Зак со своим вечным скептицизмом.

Мы стоим рядом – я, Паша и Кленов.

"Что, братцы, как говорили в старину, лехаем, бояре!" – улыбается пьяный Кленов.

"Лехаем", – отвечаю я. Мы чокаемся, и вечер как ни в чем ни бывало идет дальше.

БУХГАЛТЕР-ГИПНОТИЗЕР

От Москвы до Уваровки — 140 километров. Станция Уваровка — на западной границе Московской области. Даже когда едешь скорым "Москва-Брест", дорога занимает почти четыре часа. Но так, если ехать до Бреста, да еще в мягком или купейном вагоне с радиоточкой и настольной лампой с уютным красным абажуром. А если поезд только до Уваровки, с мешочниками и молочниками, то, кажется, нет дороге конца и пока доплетешься до Уваровки, можно вполне обдумать всю свою жизнь.

В Уваровку еду по специальному заданию Управления по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли при Мособлисполкоме, где уже пятый месяц работаю главным ревизором. Так совершенно строго и конфиденциально я изложил ситуацию Крастошевским.

У них я провел перед отъездом вечер. При словах "специальное задание" даже в насмешливом Нокином лице проснулось что-то уважительное. На ее день рождения съехалась масса гостей, и я, как обычно, в центре внимания, а Лилия Адольфовна — в своем репертуаре. Теперь ей уже не к чему возвышать моих родителей, теперь я уже сам — фигура, и, сидя на другом конце стола, она не перестает мучить меня вопросами.

— Так сколько у тебя предприятий, сколько?

— Около ста тридцати, — не моргнув глазом отвечаю я.

— И крупные предприятия?

— Во всяком случае, не маленькие — 65 редакций и 63 типографии.

— Вот это понимаю! — со значением смотрит она на дочерей.

Нока сегодня очаровательна как никогда. Она в де-

кольтированном платье и похожа на Марию Мнишек из кинофильма "Богдан Хмельницкий". Но вот на ее лице вновь появляется безразличие — мои сто тридцать предприятий ее волнуют не больше, чем законы Хаммураби.

— Что ты сидишь, как я не знаю кто. Положи ему рыбы, положи, он же уедет голодный!.. И любого директора можешь снять?

— Снять, конечно, не снять, но поставить вопрос могу о любом.

И вообще я многое могу. Мне ведь только двадцать два года. А я окончил уже Юридический институт и через год окончу еще один — Полиграфический. Могу стать Плевако, Грузенбергом. Могу вырасти в крупного политического деятеля. Буду ездить за границу. Конечно, евреям сейчас не дают хода, но это явление временное, все изменится, и я займу свое место в жизни.

— Следующая Уваровка! Эй, друг ситный, вставай!— проводница безжалостно дергает меня за плечо, а я никак не могу взять в толк, что друг ситный — это я, главный ревизор Управления (название которого этой проводнице никогда не выговорить), сладко задремавший перед самой Уваровкой. На улице — ноябрь, дождь со снегом, и вылезать в этой Уваровке у меня нет никакого желания. Но надо — назвался груздем — полезай в кузов, а в данной ситуации долг превыше всего.

Как выясняется, Уваровка — даже не станция, а полустанок. Облепленный мокрым снегом, стою я на грязной платформе. Куда идти? Времени уже второй час. В Дом колхозника не пустят — поздно! Спускаюсь с платформы и, вымесив метров пятьсот по жирной и ржавой жиже, стою у деревянной хибары. У входа в хибару — дощатый порожек, а над порожком — вывеска с названием моей ответственной организации — "Управление по делам..." и так далее, а чуть ниже — редакция Уваров-

ской районной газеты. Одно из ста тридцати подведомственных мне учреждений. Долго стучу, пока где-то внутри не просыпается недовольный и сонный бас:

— Какой еще ревизор? Завтра приходи, нам пускать никого не велено.

Так и ушел не солоно хлебавши обратно на полустанок и приткнулся на скамеечке. Одна только радость, что было три часа ночи и до утра оставалось совсем ничего.

Я запомнил эту ночь, потому что это была первая моя ревизия. Ревизия — это, конечно, не первый бой, и не первый процесс в суде, и даже не первая заметка в газете "Труд".

Впрочем, все зависит от мироощущения. Когда на лекции по судебной психиатрии я впервые услышал, что Павлов подразделил людей на "мыслителей" и "художников", то про себя тотчас решил, что я — мыслитель. Скептик и мыслитель, а не какой-то там наивный художник и мечтатель. Сейчас эта бескомпромиссность вызывает у меня веселую улыбку. Видно, человек всегда тяготеет к тому, что не дано ему судьбой.

Физиков, проникающих в тайны микромира, прельщает амплуа поэтов и журналистов. Горбатые уродцы жаждут нравиться женщинам и выглядеть неотразимыми донжуанами. Я уже выше писал, что в "мыслителя" и скептика меня превратила жизнь — да и то я не уверен, что до конца. Что же касается юности, то я всегда был тем самым мечтателем, которого презирал с первой лекции по судебной психиатрии, если угодно — даже романтиком, но только не в газетном, а в другом понимании этого слова.

Был я им, когда в майские вечера сорок пятого года, растянувшись на траве возле дачи Крыловых, пялил с восторгом глаза на быковские звезды и слушал, как

Сендах читал Пастернака. И когда на кленовской кухоньке кипятили кофе, чтобы, не дай Бог, не задремать, и писали обращение к братьям-корейцам. И когда в старом отцовском полушубке ехал на станцию Уваровка в амплуа главного ревизора, которого даже не пустили переночевать в "ревизуемом объекте".

Говорят, что романтики — это люди, оторванные от жизни. Жить бы таким не на грешной земле, а в заоблачных кущах, среди порхающих херувимов и прочей певчей братии. На романтиков явно клевещут, ибо они-то — самые что ни на есть земные люди. Романтиком был Валя Ивкер (несколько лет назад затравленный коллегами по тамбовской прокуратуре, он покончил жизнь самоубийством), когда в страшные годы космополитизма, счастливый и праздничный, выходил он танцевать фрейлехс, обняв двумя пальчиками лацканы пиджака. Романтиком был скептик и мыслитель профессор Гурвич; и тетя Рахиля, угощавшая нас варениками в городе Биробиджане, тоже, в сущности, была из нашей братии.

Романтики — это те, кто умеет радоваться и хохмить, когда дела становятся уже совсем никуда, и кто умеет делать хорошую мину при плохой игре, ведь плохо играют они не по своей воле. И еще это тот, кто в трудный момент умеет немного приподняться над прозой жизни и, например, назвать себя главным ревизором бог весть какого управления, когда он всего лишь маленький бухгалтер-ревизор маленькой областной конторы "Мособлполиграфиздат".

Но тогда я действительно верил, что являюсь фигурой. 63 типографии были какой-никакой полиграфической промышленностью, а 65 редакций при некотором воображении можно было вполне назвать издательствами.

Как и полагалось важному Управлению, мы размещались в самом центре, на углу Манежа и улицы Горького,

и имели даже общий вход с бывшим театром Ермоловой. Пойдешь прямо — попадешь в театральный вестибюль. Свернешь налево — окажешься в длинном коридоре. Первая дверь — предбанник с кабинетом для руководства, две последующие вели в само Управление, то есть в две длинные и заставленные сплошь столами комнаты. Столы стояли параллельно и перпендикулярно друг другу, и везде сидели сотрудники числом в восемнадцать человек.

В каждой из комнат было свое начальство. В первой — начальник планового отдела Леонид Карлович Дефье, во второй — главный бухгалтер Лазарь Михайлович Гольдберг.

Леониду Карловичу было под семьдесят. У него был мощный пористый нос. Говорили, что в молодости его укусил тарантул. Но Валька Соломатина, его сотрудница, утверждала, что тарантул тут ни при чем, просто Дефье всю жизнь был не дурак выпить.

В отличие от Леонида Карловича, Лазарю Михайловичу было уже давно за семьдесят, и внешне он был чем-то похож на престарелого Оноре де Бальзака. Но, в отличие от гениального француза, обладавшего редкой бодростью духа и чудовищной трудоспособностью, с Лазарем Михайловичем случалось, что в разгар рабочего дня он, погрузившись в баланс, начинал клевать носом, прямо с недокуренной папиросой в зубах.

Пребывать в объятиях Морфея Лазарю Михайловичу обычно не давала его заместительница Александра Дмитриевна. Она была старой девой, выкуривала две пачки "Беломора" в день и плела бесконечные интриги против своего соседа по комнате, ретушера Абрамовича. Сам Абрамович был грузный седовласый человек, обремененный, в отличие от Александры Дмитриевны,

большой семьей и вечно заваленный работой, поступавшей к нему из всех 65 редакций Московской области.

Склонившись над горой фотографий, он на всю комнату рассказывал анекдотические истории, длинные и не очень смешные. Дело обычно происходило в Киеве или Одессе, где он некогда работал репортером. К его длинным и не смешным анекдотам в нашей комнате все уже давно привыкли, как привыкли к появлению в дни зарплаты сына Абрамовича с его маленьким горластым внуком.

Несмотря на все запреты деда, внук считал своим долгом сразу же после своего появления взбираться на стол к Александре Дмитриевне. Александра Дмитриевна положительно не переваривала Абрамовича и всякий раз, когда он открывал форточку, подлетала к главбуху и возмущалась:

— Лазарь Михайлович, да что же это такое делается?

— А что такое делается? — громко сопел Лазарь Михайлович.

— Мы же все схватим крупозное воспаление легких!

— И что вы хотите, чтобы я сделал?

— Да хоть поговорите, черт возьми, с товарищем Абрамовичем, как старший по должности.

— Хорошо, поговорю, — сопел Лазарь Михайлович, придвигая ближе к себе баланс.

— Черт знает что, — продолжала возмущаться Александра Дмитриевна.

Время от времени в епархии Лазаря Михайловича появлялась еще одна личность — многодетный отец и младший бухгалтер — ревизор Лисин. Большую часть времени он пропадал в области. Из районов возвращался вечно небритый, зачуханный и первое, что делал, --это клал акт ревизии на стол Александре Дмитриевне.

Она читала, но довольно скоро не выдерживала:

— Иван Ксенофонтович, что же вы здесь пишете: "Сделали перерасчет"? Когда сделали?

— Надысь...

— Что надысь?

— Перерасчет надысь сделали.

— Лазарь Михайлович, вы что-нибудь понимаете, что он говорит? — взрывалась Александра Дмитриевна.

— А что вы хотите, чтобы я понял? — сопел Лазарь Михайлович.

— Ничего, черт возьми, не хочу, — кричала Александра Дмитриевна и убегала прочь.

Что же касается взаимоотношений Леонида Карловича и Лазаря Михайловича, то между ними в принципе царил мир, и их единственным яблоком раздора была благосклонность начальства. Начальника они страшно ревновали друг к другу, и он поочередно выдавал на орехи то одному, то другому. Если плановик засиживался у начальства, то у главбуха обычно тут же находились дела, и если начальство просило его подождать, то он уже не находил себе места.

— Черт знает что! С этим Дефье не решишь ни одного вопроса.

Теперь у Лазаря Михайловича появился еще один подчиненный. Этим подчиненным был я, назначенный на должность бухгалтера-ревизора с окладом 790 рублей в старых деньгах.

Я сидел за роскошным старинным бюро с задвигающейся гофрированной крышкой. Бюро стояло перпендикулярно к столу Александры Дмитриевны и параллельно столу ретушера Абрамовича.

Когда крышка поднималась, это был обычный канцелярский стол, но, когда задвигалась, он напоминал старинный клавесин, выполненный в стиле ампир, и

необыкновенно облагораживал своим присутствием окружающую обстановку.

Перед тем как занять свое место за клавесином, я был принят начальством, которому меня в качестве молодого и талантливого юриста рекомендовал старый товарищ отца, ответственный работник Госконтроля, Сергей Иванович Соловьев.

Фамилия начальства была Зенин, имя и отчество — Михаил Петрович. Внешне начальство напоминало шарик и было само воплощение добродушия. В подведомственных предприятиях звали его не Михаил Петрович, а Михала Петрович. Так вот после долгих и бесплодных поисков работы я и предстал перед светлым ликом Михалы Петровича, начертавшего тут же яркую программу моей будущей деятельности в Управлении.

— Мне Сергей Иванович говорил, что вы, понимаете или нет, юрист. Но нам юрист, как го-рится, не нужен, не трэ-ба. Ни с кем не конфликтуем и конфликтовать не собираемся.

Михала Петрович долго смотрел на меня испытующим взглядом и наконец спросил:

— Ты вот что скажи, приказы писать умеешь? А то у нас есть один бухгалтер-ревизор — горе-горькое. Нюх у него собачий, а слог телячий, не знает, что предложение состоит из подлежащего и сказуемого. Лепит все подряд. За ним грамотный товарищ нужен, чтобы его китайскую муру переводил на русский язык.

Короче, стал я главным грамотеем при младшем бухгалтере-ревизоре Лисине и довольно скоро научился переводить его китайскую муру на "поэтический" язык управленческих приказов. Правда, я мечтал о другом, но все же это было лучше, чем ничего, и когда я встречал своих безработных сокурсников, то с удовольствием думал, что не такой уж я невезучий.

Однажды на улице я столкнулся нос к носу с Пашей Заком. Я рассказал ему, где работаю. Он смотрел на меня такими глазами, будто мне удалось вспорхнуть на небо, а он, бедняга, остался все на той же несчастной и грешной земле.

— А тебе там еще одного ревизора не нужно?

— Нет, Паша, еще одного не нужно. К сожалению, весь ревизорский аппарат укомплектован.

После бурь и встрясок, пережитых в МЮИ, склоки Александры Дмитриевны и ретушера Абрамовича казались мне благоговейным журчанием. Я писал ревизорские приказы и радовался своей тихой заводи, пока в один прекрасный день меня не вызвал Михала Петрович и не сказал, что для его Управления слишком накладно держать грамотея, даже такого образованного, как я, на ставке 790 рублей.

— Не желаете ли, молодой человек, попробовать силы на ревизорском поприще?

Делая хорошую мину, я теперь должен был хоть как-то сыграть и свою игру. Одно дело — ученый грамотей, стать им не велика была хирость для выпускника Юридического института. Другое — бухгалтер-ревизор, человек из области, которая никогда не была моей стихией.

Странную штуку сыграла со мной жизнь. В школе мне плохо давалась математика. Я не пошел в технический вуз, поскольку считал себя прирожденным гуманитарием. Но, окончив Юридический институт, оказался во власти ненавистных мне цифр. Избавившись от дифференциальных уравнений и сопромата, я вынужден был по уши погрузиться в дебеты и кредиты. От них у меня воротило скулы еще в институте, когда на третьем курсе я вынужден был сдавать бухгалтерский учет. И, просидев 5 месяцев за своим "клавесином" и только слыша,

как Александра Дмитриевна в перерывах между интригами с Абрамовичем, что-то "дебетовала" и "кредитовала", я мало продвинулся вперед в области бухгалтерской науки. Не оттого что я был сноб и не желал продвинуться, отнюдь! Просто у каждого человека в жизни может что-то не получаться, как бы он к этому ни стремился. Когда я брал в руки конторские счеты, пытаясь перебрасывать костяшки, пальцы мои становились анемичными и на лице, кажется, появлялось выражение, которое в детстве обычно пробуждала нянька, тыкая мне в рот ложку с рыбьим жиром.

Словом, переступая порог Уваровской редакции, я не заблуждался по поводу той щекотливой ситуации, в которой мне предстояло оказаться в силу врожденного неприятия бухгалтерской науки.

Перед отъездом мой подчиненный Лисин меня инструктировал:

— Перво-наперво сочтешь кассу — чтобы недостачи не было. Апосля возьмешь счеты и пойдешь по статьям баланса, "гонорар", "канцелярские" и проч.

Следуя этой инструкции, я с грозным лицом вошел в бухгалтерию и, предъявив удостоверение, сухо отрубил:

— Касса! Прошу предъявить кассу!

Бухгалтерша, уже немолодая, с умученным лицом женщина, открыла несгораемый ящик и стала считать. "Наверное, дома у нее куча детей, и все ревут, и все живут наверняка впятером в одной комнате". Но мне до этого нет дела. Я — ревизор, и меня интересует пока только касса, а в кассе у нее недостача около пяти рублей. Она объяснила, что деньги взял редактор на поездку в колхоз. Но и это меня не интересовало: недостача есть недостача!

— Теперь займемся балансом, — сказал я уже не таким уверенным голосом.

Бухгалтерша услужливо положила передо мной баланс и... к самому носу придвинула счеты.

— Это мне не нужно, — резко отодвинул я счеты. — Считать будете сами. Надеюсь, что могу вам довериться...

Я взял баланс и стал называть ей цифры. Она откладывала их на счетах, а я не спускал с нее глаз, следя за каждым движением ее пальцев. И всем своим видом показывал, что, конечно, я ей доверяю и не унижусь до того, чтобы самому взять в руки счеты, но не дай Бог ей использовать мое доверие во зло. А она, молниеносно орудуя костяшками, боялась оторвать от них глаз, чтобы ревизор не подумал чего-нибудь худого.

Лишь один раз она окинула меня странным взглядом — это когда я взял авторучку и построил цифры, которые она откладывала на счетах, в столбик.

— Да вам же легче на этом, — снова подвинула она мне счеты.

— Я же сказал, что этого мне не нужно, — метнул я на нее грозный взгляд. После этого она уже не решалась давать мне советы.

Из Уваровки я вывез не только акт о финансовых нарушениях на четырнадцати страницах, но и в некотором смысле новый метод финансовых ревизий, когда под неотрывным взглядом ревизора ревизуемое лицо само выявляет нарушения в своей работе.

Разумеется, этот метод был хорош при умении психологически воздействовать на это лицо. Я считал, что такими способностями обладаю. Как-то летом на даче я увлекся гипнозом и провел несколько опытов с соседними мальчишками и девчонками. Усыпляя, я затем заставлял их убивать на себе мух, крутить педали и даже чувствовать себя скрипачами и исполнять по моему

приказу в воздухе музыкальные экспромты. Я был безмерно горд, что открыл в себе это дарование. Оно приводило Нелю и Элю в неописуемый восторг и позволило мне в их "поэтическом салоне" обрести свое нетривиальное лицо — лицо гипнотизера.

КАК Я РЕДАКТИРОВАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ

Довольно скоро мне это надоело, но теперь, когда жизнь заставила меня стать ревизором, я не мог не вспомнить о своих способностях. Ведь что-то во мне было, если я заставлял людей средь бела дня засыпать и послушно повиноваться моим командам. Так почему же это данное мне от Бога "что-то" не использовать для дела?

Разумеется, на счетах я считать научился. И в балансах стал разбираться. Но от гипноза все же не отказался, пребывая в уверенности, что психология ревизиру нужна не меньше, чем бухгалтерия.

Вот так и уподобился я герою рассказа Марка Твена "Как я редактировал сельскохозяйственную газету". Но у Твена была невинная юмореска, а я методы твеновского редактора умудрился перенести в живую жизнь.

Безнравственно заниматься делом, которого не знаешь, и тем более аморально морочить людям голову с помощью каких-то сомнительных методов, вроде моего гипноза. Но нравственные оценки — вещь весьма относительная. Человеческие пороки проистекают из окружающей жизни. Перед тем как стать столь ответственным ревизором столь важного Управления, я четыре месяца искал работу по специальности.

Искал я ее и после того, как сел за свой персональный

"клавесин", пока жизнь не столкнула меня с товарищем Юдкиным. О его существовании я узнал все от того же Еравского, когда-то подвигнувшего нас с Кленовым на письмо братьям-корейцам.

Как и в тот раз, я встретил Еравского на улице Горького, и он совершенно конфиденциально сообщил, что заведующий отделом писем газеты "Труд" Юдкин набирает юристов и, что самое удивительное, берет даже с "пятым пунктом".

Разумеется, после истории с братьями-корейцами я на любую информацию Еравского смотрел скептически. Но поскольку от площади Моссовета, где мы встретились, до площади Пушкина, где находилась редакция "Труда", было всего десять минут хода, я решил рискнуть и испытать судьбу.

К моему удивлению, Юдкин, выглядевший очень солидным и респектабельным человеком, встретил меня с неподдельным интересом. Пригласив к себе в кабинет, он усадил меня в великолепное кожаное кресло и с тем же неослабевающим интересом стал выспрашивать, интересует ли меня трудовое право и как бы я отнесся к его предложению поработать в газете "Труд".

После дремучих хамов из отдела кадров, которые в лучшем случае могли лишь буркнуть "позвоните завтра", Юдкин казался человеком из сказки.

— Только одно меня смущает, — сказал он в конце беседы (на миг у меня сжалось сердце), — достаточно ли хорошо вы знакомы с экономической географией СССР. Для нас это очень важно. Придет, например, запрос из Кузбаса или Кривого Рога, а вам, чтобы ответить, надо знать, какая там развита промышленность, какие заводы.

Я сказал, что по географии у меня всегда была пятер-

ка, но если надо, то я готов проштудировать дополнительно.

— Вот и отлично, — сказал Юдкин.

Наутро, окрыленный надеждой, я вручил ему свою автобиографию и личный листок по учету кадров.

— По всем объективным данным вы подходите, сказал он, познакомившись с документами. Слова его звучали для меня, как музыка. "Прощайте, Михала Петрович, с вашей грамотейской работенкой и с вашим пыльным клавесином".

Когда я позвонил еще спустя день, Юдкин сказал, что со мной все в порядке, он уже доложил обо мне начальству.

— Звоните во вторник и в среду выйдете на работу.

До вторника я жил, как на крыльях, но во вторник, когда позвонил Юдкину, рухнул наземь, как подстреленный сокол. Я даже не услышал привычного для меня отказа. Просто сообщили, что товарищ Юдкин в газете "Труд" со вчерашнего дня не работает.

Я больше никогда его не видел, но, встречая время от времени своих сокурсников, узнавал, как многие едва не стали сотрудниками товарища Юдкина, о котором по Москве еще долго ходили веселые легенды.

Ни один из дремучих кадровиков не мог мне так отбить охоту к поискам работы по специальности, как это сделал человек из легенды товарищ Юдкин.

Я вдруг обрел покой, и каждое утро преспокойно усаживался за свой "клавесин". Впрочем, это мне только казалось, что я обрел покой. В душе по-прежнему жила жажда деятельности, которая вспыхнула с особой силой после того, как я стал ездить по районам.

Даже маленькие районные газетки, которые только писали о том, где и сколько убрали хлеба, где и сколько надоили молока, — и те вдруг засветились для меня

нежным поэтичным светом. Сколько раз, сидя в маленьких бухгалтерских закутках, обложившись балансами и кассовыми ордерами, я с завистью смотрел на их сотрудников. Едва умея связать пару слов, они шумно суетились в своих комнатушках и гордо называли себя газетчиками.

На каждый мой вопрос, почему за то-то заплатили такой гонорар, а не такой, следовало любезное разъяснение, что все зависит от жанра. Де, мол, фельетон — это не передовица, а передовица — это не информашка. И вместе с разъяснением — иронический взгляд, от него во мне все переворачивалось: "Мол, что ты можешь понять, конторская крыса, в творческой работе, сиди и командуй бухгалтершей, а в наши журналистские дела лучше тебе не совать свой нос".

Что мне было ответить? Что в свои 22 года я не меньше, чем они, презираю конторских крыс и оказался в их стане далеко не по своему желанию? Что я изучал латынь, Римское частное право и к тому же кончаю второй институт и мог бы стать газетчиком ничуть не хуже, чем они? Что только в силу не зависящих от меня обстоятельств, я вынужден ездить по этим газетенкам и, как Плюшкин, высчитывать их гонорарные крохи? Ничего подобного, разумеется, не мог я ответить, а мог лишь все это переживать в себе.

Думаю, что и Марк Твен был бы более снисходителен к своему герою, если бы его силой заставили редактировать сельскохозяйственную газету и не оставили при этом никакой альтернативы — или редактируй, или иди на все четыре стороны и подыхай с голоду. Возможно, он бы даже простил своему герою, если бы тот от безысходности стал использовать при редактировании своего сельхозоргана что-нибудь вроде моего дурацкого гипноза.

К тому же за этот грех жизнь рассчитается со мной сполна, но произойдет это в начале 1953 года, когда меня неминуемо ждала решетка, и только смерть великого вождя и учителя избавила меня от нее.

Весь 1953 год я ездил по районам Московской области и проводил ревизии в редакциях районных газет. Работа была спокойная. К зарплате приплюсовывались командировочные. Если я ночевал не в гостиницах, а в самих редакциях, то набегала прибавка рублей триста-четыреста в месяц.

В мире между тем все более накалялась обстановка. Газеты неустанно трубили о борьбе двух лагерей, о происках империализма и международного сионизма.

Моя жизнь теперь протекала как бы в двух измерениях. Одно — это бурлящая, страшная, переполненная ненавистью, но освещенная "гением Сталина" Россия. Повсюду действовали щупальцы международной сионистской организации "Джойнт". Газеты призывали к бдительности и публиковали на своих страницах фельетоны, из которых вырисовывалась "монументальная панорама" советского общества тех дней. Повсюду действовали проходимцы с еврейскими фамилиями, разворовывающие казну. Комбинаторы, мздоимцы, мошенники, скупщики краденого, они появлялись везде, где руководители теряли бдительность. Эта кампания обрела особенно широкий размах после ареста органами государственной безопасности "группы врачей-убийц" в январе 1953 года.

Газеты публиковали письма читателей, со слезами благодарности они обращались к простой русской женщине врачу Лидии Тимашук, которая мужественно отвела преступную руку убийц. И рядом печатались черносотенные фельетоны, разжигающие низменные инстинкты людей.

Сюжет фельетонов один и тот же: некто Абрам Натанович Хайкин или некая Роговая-Левицкая обводят вокруг пальца простодушных ротозеев — некоего Ивана Ивановича или Ивана Петровича.

Не составляло труда разгадать, какие ассоциации это должно было вызвать. Ведь евреи исстари обирали, сосали кровь русского человека. Именно в этом их обвиняли достойные сыны Союзов русского народа и Михаила Архангела. Правда, идейная платформа этих союзов теперь выступала в иной фразеологии и с учетом времени и сталинской бескомпромиссности была несколько модифицирована — газеты призывали не только решительно покончить с орудовавшими повсюду евреями-дельцами и комбинаторами, но и обрушиться против преступных ротозеев, под крылышком которых вольготно живется тайным и явным агентам "Джойнта". Становилось небезопасным не только принимать, но и держать на работе евреев. Таким было одно измерение, в котором я жил.

Другое — мой "клавесин" и мое областное Управление имеющее общий вход с бывшим театром имени Ермоловой.

В громадном бурлящем океане, где все ходило ходуном, то было крошечное мирное болотце, в котором журчала своя тихая канцелярская жизнь. Ровно к десяти приходили на работу и усаживались за свои столы и бюро. Составляли разнорядки, собирали отчеты, проверяли балансы и техпромфинпланы. В полвторого обычно включали электроплитку и пили чай — одни с бутербродами, как Леонид Карлович, другие — с бубликами и ванильными сухарями, как Лазарь Михайлович.

В шесть тридцать запирали столы и шли домой. Здесь не было ни русских, ни евреев, ни сионистов из организации "Джойнт", ни их тайных и явных агентов, а была

лишь Александра Дмитриевна, плетущая интриги против ретушера Абрамовича, было тихое соперничество между Лазарем Михайловичем и Леонидом Карловичем за то, кому меньше достанется на орехи от Михалы Петровича.

Было даже страннс, что в 1953 году в самом центре Москвы могла существовать такая тихая и безоблачная жизнь. Но в одном я определенно ошибался – полагая, что в этой канцелярии нет русских и евреев. Были и те, и другие, только понял я это несколько позже.

Когда началось дело Сланского, Леонид Карлович, держа свежую газету в руках, подплыл к бюро главбуха и сказал:

– Слышали, Лазарь Михайлович, новости, в Чехословакии самого генерального секретаря ЦК за одно место взяли...

– Да, дела... – только и ответил Лазарь Михайлович.

Совсем как у Островского – "Султан Махмуд Персидский пошел войной на "Султана Махмуда Турецкого".

Но слишком яростно все бурлило вокруг, чтобы болотце оставалось неподвижным, и пришел день, когда зашевелилось и оно.

Как-то меня вызвал Михала Петрович и сказал, чтобы я собирался в Орехово-Зуево. Там состоится суд над редактором орехово-зуевской газеты Бершадским. Михалу Петровича вызывают как свидетеля, а я должен предъявить от имени Управления гражданский иск.

Среди 65 редакторов районных газет Бершадский был единственный еврей, и все началось с того, что Михале Петровичу позвонили из Орехово-Зуевского горкома и сообщили, что редактор снят за финансовые злоупотребления и махинации.

На суде выяснилось, в чем заключались злоупотребления. Бершадский, возомнивший себя, как сказал прокурор, маленьким хозяйчиком, доплачивал по триста руб-

лей счетоводу из гонорарного фонда. Кроме того, свидетели показали, что Бершадский любил пожить на широкую ногу, что на столе у него стоял боржом, а иногда появлялись бутерброды с колбасой и сыром. Из показаний свидетелей должен был вырасти образ холеного барина, избалованного жизнью. Но образ этот никак не уживался с сидящим на первой скамье сутоловатым человеком с живыми карими глазами.

Позади Бершадского расположились его жена и двое маленьких сыновей. Зал был набит любопытными, пришедшими со всего города смотреть, как будут судить редактора.

Прокурор в обвинительной речи сказал, что Бершадский вел себя с вызывающим нахальством — виновным себя не признавал и имел еще наглость сослаться на Михалу Петровича, будто бы именно тот дал разрешение доплачивать счетоводу.

Накануне процесса мы ночевали с Михалой Петровичем в одном гостиничном номере. Всю ночь он не сомкнул глаз. Бершадского называл подлецом и проходимцем, поскольку он, Михала Петрович, никогда не давал и не мог дать такого разрешения. Правда, как человек гибкий, он не связывал подчиненным руки. Однажды я сам слышал, как какой-то редактор позвонил начальнику Управления и попросил разрешения израсходовать что-то сверх сметы. Ответ Михалы Петровича был достоин Талейрана:

— Лично я, — сказал он, — возражать не буду. Только, чур, уговор — ты меня ни о чем не спрашивал, я тебе ничего не разрешал...

На суде Михала Петрович вел себя вполне достойно. На провокационный вопрос Бершадского, не помнит ли он, как дал разрешение на доплату счетоводу, Михала Петрович только пожал плечами и блестяще парировал:

— Может быть, товарищ Бершадский представит какой-нибудь документ в подтверждение этой версии?

Бершадский сказал, что документа у него нет. И по залу — уже не в первый раз — прошел возмущенный шумок: это ж надо, какой мерзавец, честного человека попутать хочет. Давить таких надо, привыкли на чужой спине ездить!

Бершадский был приговорен к семи годам лишения свободы. Под стражу его взяли прямо в зале суда, так что он едва успел попрощаться с женой и сыновьями. Перед вынесением приговора он пришел в старой, выцветшей гимнастерке — по-видимому, уже знал, чем может кончиться суд.

Наутро, когда мы с Михалой Петровичем вернулись из Орехово-Зуева, никто не работал — все только и говорили о суде над Бершадским. Первым подплыл к моему клавесину Леонид Карлович. Его лицо и, как мне показалось, даже большой пористый нос горели любопытством:

— Ну, Виктор Борисович, сколько?

— Что сколько, Леонид Карлович, — не понял я.

— Сколько редактору дали?

Я ответил.

— А сколько взыскали в пользу Управления?

Я снова ответил.

— Верно говорит русская пословица: "От тюрьмы и от сумы не зарекайся", чего, кажется, человек не имел, — сказал Леонид Карлович и не спеша зашаркал к своему столу.

Лазарь Михайлович, услышавший наш разговор, громко засопел и, когда плановик отошел, тихо сказал:

— Виктор Борисович, по-моему, это все потому, что он "ид"... — Он помолчал. — А что будет с детьми, не ска-

зали? Ну, конечно, — прошамкал он губами своим мыслям... и снова углубился в баланс.

На втором году работы я вдруг открыл для себя, что они были совсем разные, эти два царедворца Михалы Петровича.

После дела Бершадского, наше болотце, взбурлившее на какое-то время, вновь обрело спокойствие. Но это было уже затишье перед бурей, и, чего я уж никак не ожидал, жертвой бури на этот раз стану я сам.

В жизни у меня это часто случалось, выходил я целым и невредимым из таких передряг, когда, казалось, уже нет выхода. Но оступался на ровном месте и ухитрился провалиться даже в такой тихой заводи, какой был наш Мособлполиграфиздат.

Словом, через несколько месяцев после суда над Бершадским меня вызвал Михала Петрович и каким-то нарочито миролюбивым голосом — этот голос всегда был предвестником бури — спросил, не проводил ли я ревизии в ленинской районной газете "Ленинский путь". В "Ленинском пути" действительно проводил ревизию я, о чем и сказал начальнику Управления.

— Ну вот, и очень хорошо, — уже не скрывая яда в голосе продолжал Михала Петрович, — пропустили, молодой человек, хищение на четыреста тысяч рублей.

Я пытался еще что-то вякнуть, но голос Михалы Петровича вдруг сорвался, и он заорал:

— Под суд пойдешь, и нас всех за собой потащишь...

Я судорожно вспоминал, как выглядела эта злосчастная редакция "Ленинского пути".

Три тесных комнатушки, заваленных кипами газет. Суетящиеся сотрудники. Я сидел в самой маленькой. По одну сторону расположилась толстуха-бухгалтерша, по другую — молоденькая хромая кассирша. У толстухи от волнения не попадал зуб на зуб, но документы были в

идеальном порядке. Когда я спросил, что с ней, она ответила, что ее сильно знобит и сразу же после ревизии она отправится домой.

Хищение вскрыли органы прокуратуры. Была арестована почти вся редакция. Одновременно было возбуждено уголовное дело против бухгалтера-ревизора, обвинявшегося по статье 111 Ук РСФСР Ч. II за халатность.

Даже здесь у меня "все было не как у людей", и, вместо того чтобы стать жуликом и комбинатором, волей судьбы я оказался среди простодушных и беспечных ротозеев.

В феврале пятьдесят третьего года я сдавал госэкзамены во втором, Полиграфическом институте. В день первого экзамена по истории русской литературы поместили сообщение, что в Тель-Авиве, на территории миссии Советского Союза, неизвестные злоумышленники произвели взрыв бомбы.

На госэкзамене по истории русской литературы срезали подряд двенадцать евреев. Я с грехом пополам получил тройку.

По Москве упорно муссировали слухи, что уже выработан план выселения евреев на Восток и даже выстроены для их расселения бараки. Да если бы и не существовал этот план, у меня была своя личная перспектива оказаться в местах не столь отдаленных.

Следователь уже несколько раз допрашивал Михалу Петровича и Лазаря Михайловича, выясняя, не было ли у меня при ревизии "Ленинского пути" корыстных мотивов и не получил ли я от преступников взятку. Если это было, то я становился их соучастником и автоматически переходил в разряд расхитителей социалистической собственности.

В этом случае меня ждало не меньше десяти лет лише-

ния свободы. Ночами я не мог уснуть — мне было только 23 года, и я должен был на столько лет угодить в тюрьму.

Казалось, искорежена вся жизнь, но в глубине души я не переставал надеяться. То был, верно, инстинкт самосохранения, столь развитый у людей в молодости. Я готов был верить во что угодно — в свою звезду, в судьбу, во вмешательство черта, дьявола, но мог ли подумать я, что свободу принесет последовавшая 5 марта 1953 года смерть Сталина.

"ВЕЛИКИЙ ЗАБОТНИК"

Советские беллетристы в свое время не пожалели красок, чтобы живописать этот день. Все они — одни более, другие менее — пространно стремились нарисовать яркую и драматическую картину всенародной скорби. Не стесняясь слез, плакали в их произведениях убеленные сединами мужчины. Едва ли не на крышах вагонов ехали в Москву женщины с детьми, чтобы сказать последнее "прости" великому вождю и учителю. И как бы на последующих страницах этими беллетристами ни истолковывалась роль Сталина, картина всенародного горя оставалась для них святыней, как нетленный символ веры народа в умершего вождя.

О смерти Сталина я узнал в шесть часов утра 6 марта — Левитан своим мощным, но на этот раз исполненным глубокой печали голосом от имени Центрального Комитета партии, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР известил партию и всех трудящихся, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров СССР

и секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. "Весть о кончине товарища Сталина, — гремел Левитан,— глубокой болью отзовется в сердцах рабочих, колхозников, интеллигентов и всех трудящихся нашей Родины...".

Мать, услышав это, вскочила с кровати и, в ужасе засуетившись по комнате, начала вдруг плакать, обращаясь к отцу, еще лежащему в постели, с одним и тем же не то вопросом, не то паническим восклицанием:

— Борис, Боже мой, что же будет?! Что будет?

Погруженный в раздумья, отец вначале молчал, но потом, потеряв вдруг самообладание, гаркнул:

— Что? Что ты разбегалась? Что будет, то будет! — И, прибавив что-то очень выразительное по-еврейски, заключил:

— Хуже не будет!

И я, все еще лежа, как и отец, в постели и слушая трагический голос Левитана, вдруг пришел к выводу, что хуже не будет, потому что хуже, в сущности, и не могло уже быть.

День начался необычно. Михала Петрович, у которого было неизменное правило с утра — куда бы он ни собирался — заезжать прежде на работу, на этот раз изменил ему. Его секретарша Женя всем отвечала, что Михала Петрович в МК и уже до конца дня, вероятно, не будет. В Управлении в этот день никто не работал. Александра Дмитриевна, вообще забыв о существовании ретушера Абрамовича, весь день не отходила от стола Лазаря Михайловича и, пуская ему в лицо клубы дыма, одолевала его все тем же вопросом:

— Что же будет, Лазарь Михайлович? Меня даже озноб берет от мысли, что Его с нами нет.

Лазарь Михайлович печально разводил руками. Зато

Леонид Карлович вдруг проявил себя холодным циником:

— А вам-то что, Александра Дмитриевна, баланс в исполком все равно сдавать надо. Слышали по радио: "Ответим на смерть вождя новыми успехами в труде"?

— То есть как это, что, Леонид Карлович? Что ж я, по-вашему, не советский человек или в моих жилах течет, черт возьми, водица, а не кровь?

— Че орать-то, че? — вдруг ожил в углу мой подчиненный Лисин. — Михала Петрович приедет завтрева, какие надо, все разъяснения и даст.

— Разъяснения, разъяснения! Обыватель вы, Иван Ксенофонтович, больше никто! — все-таки вышла из себя Александра Дмитриевна.

К вечеру на Пушкинской и улице Горького стали собираться толпы людей. Кое-где выстраивались колонны, но чаще шли просто беспорядочными потоками, и неизвестно было, в какую сторону они двигаются, где их начало и где конец.

Если не считать матери, я не видел ни одного плачущего лица. На лицах людей была даже не печаль, а какая-то безотчетная фанатичная обреченность. Радио играло Шопена и Моцарта. В великолепном хоровом исполнении следовали печально-торжественные траурные мелодии. Казалось, скорбью охвачены все — от мала до велика. По крайней мере, люди сами в это верили и, вероятно, действительно готовы были плакать от охватившего их трагического чувства. Но на самом деле это было не более, чем самовнушение, которому великий вождь и учитель так прекрасно обучил свой народ.

О смерти богов нельзя скорбеть, ибо боги не умирают. На этом зиждется вера. На этом зиждилась вера в бессмертие великого Сталина. Разве не писали газеты, что, подобно Богу, он творил счастье миллионов, преда-

вая анафеме отступников от великой веры? Разве по многу раз на день — будь то митинг, собрание или праздничное застолье — не произносили молитв о его вечном здравии? Разве не жил он в сердцах и душах миллионов, наполняя их верой в лучезарное будущее? И даже песни о нем звучали как божественные псалмы: "Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет, с песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет!"

И когда радио вдруг сообщило о его кончине, стоило ли удивляться паническому неземному ужасу, охватившему людей, — куда и за кем теперь идти, если Его больше нет?

Репортаж из Колонного зала Дома Союзов вел Алексей Сурков, который так писал о мертвом вожде: "Он лежит в гробу, так близко от белокаменного Кремля, где на капитанском мостике корабля истории протекали три с половиной десятилетия его славной и многотрудной деятельности.

Мундир генералиссимуса и красный шелк драпировки гроба оттеняют снеговую бледность такого знакомого, такого бесконечно родного лица.

Седина, как ранний осенний иней, запорошила усы и венец чуть вьющихся волос. Скованные холодом смерти, веки скрыли взгляд, который так далеко проникал в будущее. Родной, любимый, навечно вошедший в жизнь нынешних и будущих поколений, лежит в неподвижности так чуждого ему покоя, он — вечно неутомимый труженик, заботник за всех нас, за все человечество..."

Говорят, что Сталин любил Суркова, любил панегирики, которые тот сочинял в честь великих сталинских побед. Думаю, что если бы вождь смог прочесть и эти посмертные по нем строки, то был бы ими вполне удовлетворен. Сурков никогда не был ни правым, ни левым, ни догматиком, ни либералом, но он обладал удивитель-

ным талантом — преисполняться вдохновением от всего, что бы ни делалось наверху. Даже в 37-м году он едва ли не первый откликнулся поэтическим приветствием на кровавый январский процесс над так называемым антисоветским троцкистским центром. По этому случаю 26 января он опубликовал в "Правде" стихотворение "Смерть подлецам":

> **"И вот они стоят перед судом,**
> **Как воплощение подлости и злости,**
> **Бесславной банды мерзкое охвостье**
> **Изгои в нашем мире молодом...**
> **Приказчики коричневого сброда,**
> **Они вредили, прячась в тайниках,**
> **Смотрите, люди, кровь сынов народа**
> **Еще не высохла на их руках..."**

И в марте 53 года в своих правдинских репортажах он сумел написать именно то, что от него ждали сверху, и именно так, как хотели сверху: скорбящие миллионы, прощаясь с великим вождем и учителем, клянутся продолжить его великое дело. Но мне иным запомнился день похорон Сталина.

В этот день улицы и площади Москвы были оцеплены военизированными отрядами КГБ. Все перекрестки были забаррикадированы грузовиками, и от Кузнецкого моста, где я находился днем 9 марта, до Петровского бульвара мне пришлось продираться в обход через улицу Кирова, а затем вниз, по кольцу "А" к Трубной площади. Возле каждого перекрестка требовали паспорт с указанием места жительства. Солдаты, стоявшие цепочками у перекрестков, выглядели зверски усталыми и озлобленными. Они не разговаривали, а рычали и чуть что — применяли силу.

На углу улиц Кирова и Мархлевского мне показалось,

что в цепочке мелькнуло узкоглазое лицо нашего Чукчи. Такой же, как он, здоровенный калмык или бурят с яростью выкидывал из-под грузовика пробравшихся туда мальчишек.

— А ну, отзень, отзень! — рычал он на напиравших со всех сторон людей. — Отзень, цволочи!

— Сам ты сволочь! — орал из толпы женский голос.— Нацепили, паразиты, винтовки!

Так и остались у меня в памяти не "живая река народной любви и скорби", о которой писал Сурков, а толпа, рвущаяся через кордоны озлобленных нацменов-солдат, которыми, казалось, Москва была наводнена. Трубная площадь была черна от людей. Оказавшись придавленным почти к самой стене Рождественского бульвара, я вдруг услышал жуткий крик женщины, и совсем рядом, в нескольких шагах от себя, я увидел в ногах у людей маленького мальчишку, который случайно споткнулся и, задыхаясь в собственных рыданиях, не мог уже подняться. Мать пыталась вытащить его, но тут же упала сама, и искаженное от ужаса лицо ее тотчас скрылось в черной людской толпе. Крики неслись со всех сторон, предсмертные крики людей, которых живыми топтали их братья и сестры...

Эта трагедия, разыгравшаяся на Трубной площади в день похорон Сталина, так и осталась в моей памяти как мрачный символ, — "великий заботник", он и мертвый умудрился унести за собой в могилу сотни невинных людей.

"УЛЫБКА" ТЕРЕХОВА

Я плохо помню первые дни без Сталина. Кажется, по утрам возле газетных киосков выстраивались длинные очереди. Люди жаждали новостей, и они не заставили себя ждать. К власти пришло новое правительство, возглавляемое Маленковым. И вскоре одно за другим произошло два события, и оба имели самое прямое отношение к моей жизни.

Первое — реабилитация врачей и передовая статья в "Правде" — "Советская социалистическая законность неприкосновенна". Второе — широкая амнистия.

Сообщение о реабилитации врачей было подобно разорвавшейся средь бела дня бомбе. По своему резонансу оно не шло ни в какое сравнение с сообщением об их аресте. Что переживал я в эти дни, трудно передать. Я шел от одной газетной витрины к другой и, не веря глазам своим, снова и снова перечитывал узкий газетный столбец "В Комитете государственной безопасности СССР". Из другого мира мне казались слова передовой о том, что бывшие руководители Министерства государственной безопасности СССР и, в частности, бывший начальник следственной части Министерства Рюмин допустили грубые нарушения социалистической законности, оторвались от народа, от партии, позабыли, что являются слугами народа и обязаны стоять на страже советской законности.

Но у тех же газетных витрин я видел людей, которые совсем не так, как я, воспринимали происходящее. Никто, конечно, не осмеливался утверждать, что не следовало выпускать из тюрьмы невинных людей. Говорили другие слова, невольно заставляющие задумываться над характером русского обывателя — что было для него благом, а что — злом.

У Леонида Карловича Дефье была подчиненная Валька Соломатина, здоровенная, флегматичная деваха и к тому же неудачница, брошенная мужем. Ее так все и звали "Валькой". Тупо уставившись в простыни с цифрами и скособочив толстые ноги, она целый день крутила ручку арифмометра, и, казалось, разорвись рядом граната, случись светопреставление, она и тогда не оторвется от стула.

Но в то утро, когда появилось сообщение о реабилитации врачей, Соломатина разложила перед собой "Правду" и долго сидела,уставившись в нее, словно никак не могла понять, о чем идет речь. Наконец сказала:

— То одно брешут, то другое, вот и пойми, кому тут верить!

То же я слышал и у газетных витрин — не радость, что восторжествовала правда, а глухое раздражение, что так некрасиво и неожиданно кончилась история, которая совсем уж было обнажила истинное лицо евреев. Что-то всегда мешает исполниться заветной мечте русского антисемита! Это "что-то" — чаще всего изворотливость самих же евреев: где подкупят, где обманут, где изловчатся... Так обычно считает сам антисемит. Что для него социалистическая законность или пролетарский интернационализм! Он готов уже ни во что не верить, если оскорблено его святое, исконное, идущее от самых что ни на есть глубин его натуры чувство.

Когда я говорю о русском антисемите, то, разумеется, не имею в виду русских людей вообще, и тем более русскую интеллигенцию с ее обостренно больной совестью, а имею в виду те самые винтики, о которых так любил говорить Сталин и которые, как бы ни вырос, согласно сводкам СЦУ, их культурный уровень, — все же являют собой наследников многомиллионной, веками задавленной мужицкой России, которая от вечной нужды

и голода вечно пила в трактирах водку и била проклятых жидов.

Выйдите на улицу, как говорится у нас, в праздничек, в Лихоборы или в Марьину Рощу и увидите те же красные, потные лица и мутные шальные глаза оттого, что надрались до белых чертей, услышите и дикие, пьяные песни с бабьим повизгиваньем. А в вечер того и гляди пойдет поножовщина, и, неведомо на что озлившись, брат пырнет брата, а муж до полусмерти изобьет жену — чего только ни увидишь в праздничек. А наутро звонки из милиции и вытрезвителей начнут извещать общественность: как изволил накуралесить их знатный новатор, да к тому же комсомолец, да к тому ж студент-заочник — куда же смотрела общественность?

И еще,когда говорю о российском антисемите,то имею в виду тех псевдоинтеллигентов — они были и при царизме,были и при Сталине,—что вили веревки и играли ноктюрны на отсталости русского человека. Много ли взять с Вальки Соломатиной, полуграмотной, брошенной мужем, измыкавшейся в подвале с пьяницей-отцом. От одного горя и неудач такая уверует в злодейские планы убийц в белых халатах. Но о тех же сионистских злодеях и о беспримерном мужестве русской женщины Лидии Тимашук писала, преисполнившись гражданским темпераментом, Елена Кононенко, "русская интеллигентка" со званием члена Союза писателей СССР.

50-е годы были урожайными на черносотенные речи. Но ни один "стихийный юдофоб" не поднялся на тот "художественный монблан", которого достиг другой член ССП, Василий Ардаматский — автор уже в те дни "знаменитого" фельетона "Пиня из Жмеринки".

Что с ними сталось? Их предали суду? Исключили из Союза писателей? Или, быть может, они отдали себя на суд собственной совести, публично раскаявшись на

страницах изданий, где выступали с антисемитскими писаниями? Даю справку: как ни в чем не бывало, оба живы и здравствуют. И процветают. И воюют за гуманизм и правду. И, вероятно, были бы искренне удивлены, если бы услышали подобный упрек вслух.

Другое событие — амнистия, — казалось, вообще не имело ко мне прямого отношения. Я и сам понял, что оно для меня значит лишь после того, как 27 марта прочел в "Правде", что прекращаются производством все следственные дела о преступлениях, совершенных до 27 марта и за которые в законе предусмотрено наказание на срок до пяти лет. Моя "халатность" определенно подпадала под Указ об амнистии, и охватившую меня бешеную радость теперь уже трудно передать.

Дома я был один и, отбросив в сторону газету, стал как сумасшедший прыгать со стула на стул и орать:

— Амнистия! Амнистия!

Стулья с грохотом летели на пол, а я продолжал буйствовать. Вошла мать, я схватил ее и стал кружить по комнате:

— Мамочка, амнистия! Да ты понимаешь, что это такое!

Не успел я прийти в Управление, как меня пригласил Михала Петрович и крепко пожал руку:

— Дело прошлое, — сказал он, — но ты, понимаешь или нет, ни в чем не виноват. Вот ни столечко! И баб тех, бухгалтершу с кассиршей, тоже отпустят, наверняка отпустят! — кружил он радостный по кабинету.

Затем меня поздравил Лазарь Михайлович и Леонид Карлович, а еще через месяц наш парторг Илья Моисеевич Берштейн предложил мне подать заявление в партию.

На партийном собрании говорили, что я — энергичный и подающий надежды товарищ и что, будучи секретарем

месткома, веду большую общественную работу. Глуховатый Илья Моисеевич улыбался и согласно кивал головой, но на бюро райкома, где должны были утверждать мой прием, пошел на всякий случай не сам, а послал своего зама, фоторепортера Соколова.

Соколов куда-то спешил и, считая вопрос предрешенным, все время смотрел на часы. Будущих кандидатов КПСС впускали по одному. Каждого держали не более двух-трех минут, и довольно скоро набитая до отказа приемная опустела.

Нас с Соколовым пригласили последними. Звонким, упругим голосом он доложил о решении коммунистов Управления Мособлполиграфиздата принять меня в кандидаты КПСС.

Когда он кончил, первый секретарь райкома Терехов, оторвавшись от моего личного дела, спросил:

— А большая ли у нас в Полиграфиздате партийная организация?

— Нет, не большая, — поднялся Соколов. — 12 работающих и прикрепленных.

— Какие есть вопросы к товарищу Перельману? — продолжал секретарь, листая мое личное дело. — Вы какую общественную работу выполняете? — спросил он.

— Я секретарь месткома.

— Кто? Кто? — весело вскинул он свои густые брови. — Протоколы, что ли, подшиваете?

Я объяснил, что у нас в Управлении секретарь месткома — это все равно что заместитель председателя. Мне самому было так сказано, когда распределяли обязанности в месткоме: председателем сделали Александру Дмитриевну, а меня секретарем, то есть замом, ведающим всеми месткомовскими делами.

— Вы слышали, у них в Управлении, — с лица Терехова

не сходила ироническая улыбка, — напридумали всяких должностей — секретарь месткома! Это что же, как секретарь ЦК получается...

— Ну, остряки! — долго качал головой сидевший по правую руку от секретаря полковник милиции.

— Вы Устав партии читали, товарищ Перельман? — теперь уже без улыбки взглянул на меня Терехов. — О чем гласит первый параграф?

Устав я знал назубок и первый параграф, определяющий, чем является партия, отбарабанил наизусть.

— Ну, а второй? — не спускал с меня глаз Терехов.

Второго параграфа я наизусть не знал и, пересказывая его содержание, запнулся.

— Вот видите, — оживился секретарь, — первый параграф вызубрили, как начетчик, а сути Устава не поняли...

— Сколько работаете в своем Полиграфиздате?

— Около двух лет, — немного прибавил я.

— Мало, очень мало. — Он помолчал и устало оглядел членов бюро:

— Ну, что, товарищи, думаю, вопрос ясен.

— Абсолютно! — поддержал его милицейский полковник.

— Значит, воздержимся?

Только теперь до меня дошел смысл происходящего. Я поднялся и сказал, что Устав партии знаю. Если надо, пусть спросят еще...

— Знаете, — снова вскинул брови Терехов, — как начетчик! И к тому же бюро вам не отказывает, товарищ Перельман. Бюро просто временно воздерживается. Поработайте, проявите себя, и, милости просим, двери в партию ни для кого не закрыты.

— Правильно, товарищи?

— Абсолютно! — теперь уже в один голос воскликнули

полковник милиции и сидящая напротив него полногрудая блондинка, которая без конца о чем-то перешептывалась то с полковником, то с самим секретарем райкома.

— Других предложений нет?

— Нет!

На улицу вышли с Соколовым молча, вернее, молчал я — на мне, по-видимому, не было лица, и Соколов, забыв о своих неотложных делах, поддерживал меня под руку и пытался время от времени что-то говорить:

— Леший с ними, не надо так расстраиваться, подумаешь, трагедия, примут!

Мог ли добряга Соколов влезть в мою шкуру, когда я и сам был не в силах себе объяснить, отчего так гнусно на душе. Лишь много позже я научусь разбираться в подобных ситуациях, пойму, что в жизни существуют две категории вещей. Одна поддается здравому смыслу и логике и потому без труда может быть понята каждым. Другая относится к области иррационального и подвластна лишь интуиции. С точки зрения первой, на бюро райкома ничего противоестественного не произошло. Так ли уж нелогично, что умудренные опытом коммунисты говорят 23-летнему сосунку, что его общественная работа секретаря месткома незначительна и вызывает лишь улыбку и что дело совсем не в том, чтобы вызубрить Устав, а в том, чтобы понять его суть...

Но в то же время я чувствовал, что эти округлые, правильные фразы не имеют ровно никакого отношения к тому иррациональному, что сработало на самом деле и что могла уловить только интуиция. Ничто в жизни не заставит секретаря райкома Терехова признать истинные мотивы, заставившие его поднять на смех мою общественную работу и не принять меня в партию.

Правда, в компании, изрядно выпив, он, может, что-нибудь ляпнет насчет своей нелюбви к евреям (один не

любит рыбу, а он не любит евреев, не любит — и все!), а может, этого и не скажет, а если и скажет, то эта пьяная, случайно оброненная фраза будет находиться в таком противоречии с его благообразным каждодневным обликом,что,попытайтесь вы это произнести вслух,на вас посмотрят так, как будто вы неприлично выразились.

Позже жизнь часто будет меня ставить лицом к лицу с такими, как Терехов, когда не слова, а некие незримые токи будут информировать, с кем имею дело. Ни Дыкин, ни Репета, ни даже Федор Михайлович Бутов не могут идти в сравнение с этим типом людей, ибо в своем ханжестве они даже себе не сознаются, что за чувства управляют ими в те или иные моменты жизни.

Расставшись с Соколовым, я вспомнил, что оставил на работе какие-то книги, которые мне могут понадобиться дома. Скорее всего, просто не хотелось идти домой, и я вернулся в Управление. Все давно разошлись по домам, лишь многодетный отец Абрамович все еще сидел, склонив свою маститую седовласую голову над пачкой фотографий. Он знал, что меня должны были принимать в партию и, по-видимому, хотел спросить, каков результат. Но все понял по моему лицу. Уже когда я вышел на улицу, он догнал меня и спросил, в какую сторону мне идти. Я показал в направлении площади Пушкина, он сказал, что ему туда же.

— Хотите, Виктор Борисович, одесский анекдот: "Старую бандершу с Дерибасовской, Сару Лазаревну, провожают на пенсию, и девочки просят ее выступить на профсоюзном собрании и рассказать, как ей удалось так сохраниться..." Вы только не думайте, что я хочу вам исправить настроение. Эти идиоты ели мало каши, чтобы суметь его испортить такому парню, как вы...

Последняя фраза мне явно нравится, и вообще этот Абрамович, вечно воюющий с Александрой Дмитриевной,

кажется, симпатичный человек. Я сворачиваю на Столешников, и он — за мной.

— А этот знаете, Виктор Борисович? Идет по Пересыпи Пиня Сухоручка, а навстречу ему — я.

— Кто я?

— Абрамович.

Мы оба смеемся. Нет, он положительно славный мужик. Только очень долго рассказывает анекдоты.

— Ну, так вот, идет Пиня Сухоручка. Вы когда-нибудь были на Пересыпи? Нет? Не много потеряли. Я ведь тоже не одессит, но ужасно люблю одесские анекдоты.

Он хочет сказать что-то еще, но мы уже подходим к моему дому. — А вообще вы знаете, что мне мать говорила, когда я уезжал сорок два года назад в Москву? Она мне говорила: "Постарайся делать меньше глупостей". Ей, конечно, хорошо было говорить. — Возле подъезда он подает мне руку. — Ну, ладно, будьте здоровы, а то я вас совсем заговорил.

— А где вы живете? — только и успеваю я его спросить.

— Да тут недалеко, у Курского вокзала. Сяду на Букашку, и через пятнадцать минут дома...

ЧИНОВНОЕ СЧАСТЬЕ

Благословенное состояние — сидеть декабрьской полуночью за кухонным пластмассовым столиком и писать. Еще недавно такой домашний дом творчества мог быть только пределом мечтаний. Отныне он стал реальностью. Врачи обнаружили у меня гипертоническую болезнь. Появилась возможность избавиться от газет-

ного вертепа и воспользоваться всеми благами личной и творческой свободы.

Я обладаю счастливой способностью ощущать все виды давления, кроме давления в собственных сосудах, и поэтому могу работать по двенадцать часов в сутки и даже больше. В часы работы у меня резко снижается интерес к окружающему миру, до минимума падают требования к элементарным жизненным удобствам. В такие часы меня с успехом можно кормить хлебом с картошкой, и сам себе я кажусь идеальным мужем и отцом.

Но нынешний мир дает о себе знать, тем более когда в квартире два телефонных аппарата. Звонят друзья, от которых, по словам жены, я уже давно отгородился. Следуют вопросы относительно моей гипертонии (пью ли резерпин, соблюдаю ли режим?). Иногда сочувственно восклицают: "Эко тебя прихватило!" О существовании рукописи, разумеется, никто из них и не подозревает.

Регулярно дает о себе знать двоюродная тетка жены Поля и опять же справляется о моем здоровье. Затем долго выясняет, решились ли мы наконец отдать дочь учиться на фортепьяно.

Звонит мать и старается тут же подозвать к телефону жену, но я-то знаю, вопрос будет касаться меня. Тихо, чтобы не услышали соседи, мать спрашивает, не прошло ли сумасшествие. Имеется в виду, не передумал ли я ехать в Израиль. Мать у меня прекрасный человек, труженица, и мне ее страшно жаль. На старости лет она заболела бронхиальной астмой и бронхоэктатической болезнью, из-за которой по два раза в год лежит в больнице и не может дышать без ингалятора. Отец болен еще сильнее. В дополнение к своим 73 годам он имеет диабет, стенокардию и бог весть еще какие недуги, от которых едва передвигает ноги. Живут старики в общей квартире с

шестью соседями и каждый раз переживают невообразимые муки, когда надо устроиться в больницу. Но стоит мне завести разговор, что оба они достойны лучшей участи, как на мою голову тотчас обрушивается гневная шрапнель: "Свобода? Что ты вообще видел? Если хочешь знать, у евреев нигде нет такой свободы! Нет, он просто рехнулся!"

Я с ними обычно не спорю — в конце концов, у них, переживших тридцать седьмой год, тоже свои представления о свободе. А на днях старики вызвали мою жену, и состоялся большой совет — что со мной делать дальше. Мать, задыхаясь и нервно дыша в ингалятор, говорила, что она никогда не думала, что у нее будет такой сын, и если я что-нибудь себе позволю, то она публично отречется от меня. Отец сказал, что он одной ногой стоит на том свете и ему уже безразлично, что я намерен делать. Но в конце концов оба обрушились на жену, что она не имеет права сидеть сложа руки, а жена сказала, что ей надоело быть между молотом и наковальней и пусть они сами говорят со своим сыном.

В последние дни участились звонки, и по всем этим обстоятельствам кухня становится лучшим местом для моей работы, а ночные часы — самым продуктивным временем.

Именно в эти часы, когда, вопреки строжайшему запрещению врачей, я варю себе крепкий кофе и, никем не прерываемый, пишу, мне кажется, что жизнь не такая уж плохая штука, хотя некоторым сторонам ее явно недостает гармонии. Все в руках людей, и не только в руках строителей и архитекторов, которым самой природой предписано создавать прекрасное.

Именно в эти часы, когда я ухожу в себя, то, как ни странно, начинаю ощущать полный контакт с миром — и прошлым, и настоящим, соединенным единой лентой

времени, которая необыкновенно выпукло оживает в памяти в ночной тишине квартиры. Я не спеша расхаживаю в пижаме по коридорам, заглядываю то в комнату к жене, то к дочери. Радуюсь, что у меня над головой крыша, и даже испорченный кран в ванной (из-за которого жена меня целый день пилила, что не вызвал слесаря), и тот кажется мирно журчащим ручейком, приятно ласкающим ухо. Становится близкой истина, что счастье не вне, а внутри нас. Все рождает ассоциации с прошлым, и даже снег за окном, словно клочья ваты, падающий на подоконник, возвращает мысль к такой же снежной полуночи пятьдесят четвертого года, когда я единственный раз в жизни на улице встречал Новый год.

Праздновать мы решили вместе с Кленовым. Из своей Конаши он должен был приехать что-то в восемь или девять вечера. Поезд опаздывал, и я в ожидании его то разгуливал по перрону Северного вокзала, то забегал погреться в тоннель.

И пока ждал, успел перебрать все события года, начиная с того дня, как получил от ворот поворот в Свердловском райкоме партии. Оправился, как это ни странно, довольно быстро. Помог местком, у которого вдруг оказалась горящая путевка в Цихис-Дзири.

Вручая ее мне, Александра Дмитриевна пожала мне руку и сказала:

— Плюньте, Виктор Борисович, на все и влюбитесь, черт возьми, в этом вашем Цихис-Дзири!

Я последовал ее совету и под палящим солнцем Аджарии пережил одно за другим два бурных увлечения, которые, хотя и не оставили следа в моей памяти, но напомнили непреложную истину, что молодость не способны омрачить никакие передряги карьеры.

С моря вернулся черный как негр и из огня солнечной

Аджарии попал прямо в полымя реорганизации. На этот раз фортуна, с которой я был в вечном разладе, не подвела. И когда в ту новогоднюю ночь мы с Кленовым пили за наше будущее, оно рисовалось мне уж не таким мрачным, как в тот день, когда выходил я из райкома партии.

Поезд опоздал на три с половиной часа. Кленов прибыл без чего-то двенадцать. Схватив такси, мы едва домчались до улицы Герцена и там возле пивного ларька, у входа в Университет, разлили бутылку водки в два граненых, запотевших от мороза стакана. И выпили, как говорится, за здоровье и счастье.

На новогоднем балу в МГУ, где мы оказались в ту ночь, познакомились с двумя очаровательными филологинями по имени Лана и Диана, тотчас пробудив в их прелестных глазках затаенное к себе любопытство. Наши девицы звенели как колокольчики, а мы держались исключительно солидно, давая им понять, что в эту новогоднюю ночь им явно повезло. Среди юных пижонов, только и способных стильно дрыгать ногами, они встретили двух взрослых людей и к тому же ответственных работников, воротивших крупными делами.

Один — зав юридической консультацией Конашского района, другой — юрисконсульт Московского областного управления культуры.

В своей Конашской консультации Кленов руководил лишь самим собой. Но какое это имело значение? И, уж во всяком случае, это не помешало ему, поглаживая бороду, предъявить нашим девочкам служебное удостоверение, подтверждавшее его руководящий пост.

За неделю до Нового года меня пригласил Михала Петрович и сообщил о моем новом назначении. В этом я увидел перст судьбы — теперь подо мной ходили главрежи театров, руководители Домов и Дворцов культуры, корреспонденты отдела радиоинформации. Даже ди-

ректор областной филармонии Трофим Тетерин на днях специально зашел ко мне в кабинет, чтобы, как он сказал, представиться юридическому богу Управления.

Мой кабинет, хоть это и был всего-навсего небольшой застекленный закуток над лестничной клеткой, тоже о чем-то говорил. Это вам не дурацкий "клавесин", подпиравший бюро вечно дремлющего Лазаря Михайловича.

Юристу для работы нужны условия — не так-то просто прочитать и проверить за день целую гору документов. И не только с точки зрения закона, но и нового руководства. Им теперь был уже не затрапезный Михала Петрович, а бывший заместитель министра трудовых резервов СССР Николай Георгиевич Ликовенков.

Новое руководство поочередно вызывало аппарат для знакомства, и, когда наконец дошла очередь до меня, Николай Георгиевич прежде всего подчеркнул, что "Управление культуры — это не какой-нибудь шараш-полиграф-монтаж, а штаб политического воспитания пяти миллионов жителей Московской области. А юрист Управления — это не какой-нибудь там законник, а организатор работы аппарата и государственный контролер за качеством документов".

— А документ, выходящий из стен Управления, — расхаживал по своему огромному кабинету Николай Георгиевич, — должен быть прежде всего документом аналитическим, я бы даже сказал больше — аналитико-методолого-творческим!..

Перед каждым из отделов Николай Георгиевич постарался открыть новые горизонты. Отделу искусств, где кроме стареющего и собирающегося на пенсию зава Калинкина сидел еще старый холостяк Лоритто, занимавшийся в основном тем, что выдавал концертные путевки актерам Мосгорэстрады, он поставил задачу — стать творческим центром пропаганды театральной куль-

туры. Отдел культпросветработы объявили штабом политического воспитания на селе. И даже на мою бывшую епархию, которая вот уже двадцать лет ничем, кроме балансов и смет, не занималась, была возложена организующая роль по улучшению идеологической работы печати.

Михала Петрович, боявшийся пуще огня всякой политики, попробовал возразить. Он осторожно заметил, что идеологией занимается Московский комитет партии, а на облполиграфиздат возложены хозяйственные функции...

— Давайте условимся, Михаил Петрович, — сказал Ликовенков, — хозяйственников в Управлении культуры нет и не может быть. Не для того, дядя, нас сюда партия поставила, чтобы мы в цифири увязли.

Даже внешне в Николае Георгиевиче все подчеркивало масштабность — от крепкой упругой походки до белых стружек волос, спадавших на седые виски.

В молодости Николай Георгиевич работал на каком-то неизвестном мне Тридцатом заводе, затем — первым секретарем Краснопресненского райкома партии, после чего — замминистра трудовых резервов СССР. Оттуда был снят и через некоторое время назначен начальником Управления культуры Мособлисполкома.

Лишь много позже, когда парторг Управления Васильев, а вместе с ним и я начнем войну против Ликовенкова, всплывут и еще кое-какие детали его биографии. Станет, например, известно, что Николай Георгиевич был замминистра трудовых резервов по кадрам и что сняли его в один день с другим замминистра Рюминым и даже по одному и тому же пункту обвинения — за нарушение принципов ленинско-сталинской национальной политики. Только Рюмин угодил за решетку, а Николая Георгиевича с тяжелым инфарктом увезли в Кремлевскую

больницу, в Кунцево, где он пролежал или переждал — всякое говорили. И лишь после того как опасность миновала, явился как номенклатурный работник в МК партии. Здесь у него были давние связи, и его трудоустроили на должность начальника Управления культуры.

В те дни, когда пришел Ликовенков, еще не вошло в обиход слово "сталинист". Оно появится позже, после XX съезда партии. С легкой руки литераторов из произведения в произведение будет кочевать твердолобый догматик, неспособный на эмоциональный порыв, не наделенный ни единой человеческой черточкой.

Но так же как эпоха Сталина не поддается однозначным определениям, так и он, ее продукт, не укладывается в схему, утвердившуюся в литературе.

Сталинист — это особый тип мышления, особая нравственная система, с которой я впервые столкнулся, встретившись с Николаем Георгиевичем Ликовенковым.

Вся его жизнь была связана с эпохой Сталина, но за все время он только раз упомянул о нем. Не восторгался и вообще не выражал своего отношения к нему, а просто коснулся вскользь,да и все.

Было это в один из вечеров, вскоре после прихода Николая Георгиевича. Я и еще несколько сотрудников, готовивших ему доклад, засиделись у него в кабинете, и он предался воспоминаниям. Нет, не о том, как сражался на фронте — на фронте он вообще не был, — а о том, как в октябре сорок первого года ему позвонили в Краснопресненский райком и сказали, что его вызывает к себе товарищ Сталин. Николай Георгиевич тотчас собрался и когда приехал, то в кабинете у вождя застал почти всех секретарей московских райкомов — Сталин хотел лично ознакомиться с положением дел на подступах к столице и каждому из секретарей задавал один и тот же вопрос. Дошла очередь и до Ликовенкова.

— Как думаете, товарищ Ликовенков, Пресня не подведет Москву?

— Не подведем, товарищ Сталин, умрем, а не отступим! — ответил Николай Георгиевич.

Рядом с трусоватым и приземленным Михалой Петровичем , придерживавшимся правила поменьше напоминать о себе начальству, Николай Георгиевич выглядел человеком окрыленным, романтиком, который никогда не упускал случая проявить инициативу, всякий раз звонил не какому-то инструктору агитпропа, дальше которого Михалу Петровича вообще не пускали, а секретарю по пропаганде Андрею Ивановичу Горчакову, с которым был на ты, а то и самому первому секретарю МК Ивану Васильевичу Капитонову. Говорили, что они старые приятели, Иван Васильевич был у Николая Георгиевича на Пресне вторым секретарем.

Звонил Ликовенков обычно с утра, чтобы застать руководство на месте, и когда я приносил на подпись документы, то становился свидетелем этих дружеских бесед. В беседах этих Николай Георгиевич, хоть и допускал шутку, но делал это в меру и вообще держался с достоинством человека, знающего себе цену.

— Иван Васильевич! Бьет челом и низко кланяется Ликовенков. Готовим тут для тебя одну бумагу по клубам. Поможешь — спасибо скажем, не поможешь — не взыщем...

Светлые глаза Николая Георгиевича блестели. Белые стружки волос весело подрагивали на седых висках. Клал он трубку в прекрасном настроении, как человек, который не только знает себе цену, но и которому знают цену там, наверху.

Каждое утро я входил в старый, с потрескавшимися стенами дом на в проезде Куйбышева, 1 — Управление культуры находилось рядом с ГУМом,— поднимался

на третий этаж в свой стеклянный закуток и садился за бумаги.

"Организатор работы аппарата", "государственный контролер за качеством документов", я с утра до вечера писал и переписывал справки и докладные о работе клубов, театров, библиотек. Это была скучная, иссушающая мозги работа, но я не сетовал, нет, я, напротив, был даже горд своей миссией, полагая себя фигурой, на которой держится Управление. Мне льстило, что не кому-нибудь, а именно мне, двадцатичетырехлетнему беспартийному еврею, поручалось переделывать справки, составленные номенклатурными руководителями областного масштаба.

Прежде чем войти ко мне в закуток, каждый из этих маститых деятелей вежливо стучал в дверь: "Разрешите, Виктор Борисович?" Случалось, что Николай Георгиевич просил меня лично отвезти какую-нибудь важную справку в канцелярию Капитонову. Исполненный гордости, я говорил секретарю Ликовенкова, Галочке, чтобы немедленно давала машину.

— Куда еду? В МК к Ивану Васильевичу, — небрежно бросал я.

Не найдя выхода для своей энергии в конторе Михалы Петровича, я, видно, пытался взять реванш в иллюзорном чиновном усердии.

...Вот вхожу в полдесятого в свой стеклянный закуток. Настроение отличное, и вдруг — несущийся по всем этажам звонкий Галочкин голос: "Перельман, где Перельман? Виктор Борисович, срочно к Ликовенкову!"

От нехороших предчувствий в груди все тоскливо сжимается. Так и есть — завернул сразу две справки по театрам и полиграфии. И, конечно, нет на месте ни Михалы Петровича, ни Калинкина, но всегда на месте "организатор работы аппарата" Перельман, с которого

за все можно спросить. Николай Георгиевич явно не в духе.

— Что же вы, дядя, меня подводите. Вы русский человек или нет? Ну разве так можно писать?

Я вытираю о колени мокрые ладони, рубаха липнет к телу.

— По-русски следует писать так, — с чувством мордует меня Николай Георгиевич.

У меня на целый день испорчено настроение. Исправить его может только само начальство. И к вечеру, собравшись с духом, я снова иду к нему. Сидящая всегда на страже у его кабинета Галочка чем-то раздражена.

— Сам здесь? — спрашиваю у Галочки.

— Да что вы все его мучаете? Дайте хоть по телефону человеку поговорить!

— А приказ по клубам подписал? — не отстаю я.

— Подписал, подписал ваш приказ! Господи, как вы все мне надоели! — и она извлекает из папки мое очередное, на две страницы творение, увенчанное каллиграфической подписью Ликовенкова.

Я пристально вглядываюсь в подпись и, как завзятый графолог, пытаюсь постигнуть, что испытывал начальник, подписывая приказ, — доволен ли, отошел ли после утреннего или все еще точит на меня зуб.

В приказе ни одной помарки, и буквы все как на подбор — все ровные, закругленные, — кажется, подписывал с удовольствием, на душе у меня становится легче. И уже собираюсь идти домой, но в раздевалке меня нагоняет— чтоб ей пусто! — Галочка:

— К Ликовенкову!

Николай Георгиевич выглядит недовольным и на меня вообще не смотрит:

— Вы этот приказ визировали? — В груди снова все

сжимается. — Возьмите и прочтите внимательно... Называется,юрисконсульт!

Поднимаюсь со стула, я уже все вижу. Машинистка в заголовке приказа пропустила букву. Идиот! Не мог внимательно вычитать. У двери в нерешительности останавливаюсь:

— До свидания, Николай Георгиевич!

Он меня не слышит или делает вид, что не слышит.

— До свидания! — повторяю еще раз.

— Всего доброго! — не отрывается он от бумаг, и я в преотвратном настроении отправляюсь домой.

Кто не жил этой жизнью, тому трудно ее понять. В ней существует своя иерархия ценностей, в которой мало что значат простые человеческие радости. Довольно скоро я пойму, что ничего, кроме новых унижений, мое чиновное усердие принести не может.

Но что ей противопоставить? На какие ценности опереться? Там же, в Управлении культуры, я встречу человека, который поможет мне обрести руководящую идею. Эта будет его идея, и она сделает меня его близким другом.

МОЙ ПАРТИЙНЫЙ ПАДРЕ

У русского человека есть дар увлекать за собой других, вселять в них собственную веру. Алексей Васильев свято, как в Бога, верил в партию. А я поверил в него. Нет, я не стану партийным фанатиком. Не буду и тем, кого принято называть "кристальным коммунистом". А буду просто человеком с верой, человеком с Богом.

И буду с ним до тех пор, пока сама жизнь не развеет его в прах. Но к тому времени совсем другим станет и мой партийный "падре", к которому еще не раз буду возвращаться в этой книге.

Впервые мы встретились с ним месяца через три после образования нового Управления. По поручению Ликовенкова, сводил я предложения отделов в общую справку. Но от одного из них — отдела культпросветработы ничего не получил и отправился на улицу Кирова, где он размещался, чтобы встретиться с его замзавом Васильевым.

Зава в этом отделе вообще не существовало. Последнего сняли год назад, а нового не назначили, и всем там заправлял Васильев, или, как его звали в Управлении, Леша. Всех — по фамилиям: Зенина, Климентова, Калинкина, а его одного — Леша.

Когда в Управлении случался прорыв, я слышал, как зам Ликовенкова Климентов восклицал: "А что если все это передать Леше, Леша вывезет". "Леша-то вывезет, у него вон какие плечи", — обычно соглашался Калинкин.

Васильев оказался совсем молодым человеком, на вид лет тридцати, хотя на самом деле ему было уже тридцать девять.

Своей мальчишеской фигуркой, облаченной в отлично скроенный костюм, и жиденькой челкой на лбу он никак не соответствовал моему представлению о всемогущем танке — Леше. Он нехотя оторвался от заваленного бумагами стола и, услышав, зачем я приехал, раздраженно сказал:

— Мои предложения? Передайте Ликовенкову, что Васильев вносит предложение отремонтировать 76 аварийных клубов.

У него был низкий, неторопливый бас человека, уверенного в своей правоте.

— Вы кем там работаете?

— Юрисконсультом! — с достоинством ответил я.

— Это что такое, справки для начальства пишете?

Позже мы оба пришли к выводу, что в тот первый раз не понравились друг другу. Я показался ему юным карьеристом, из молодых да ранних, а он мне самовлюбленным нахалом. И к тому же демагогом, от которого следует держаться подальше. Но судьбе было угодно распорядиться по-другому. И вот в моей памяти уже другой кадр.

... Душная летняя ночь. Окна в квартире на Ново-Песчаной распахнуты. И балкон тоже распахнут. Свет давно погашен. Мы лежим на кроватях, сбросив одеяла. Он — в трусах, и я — в трусах. Я спрашиваю, а он отвечает:

— Послушай, Алексей, вот ты, как партийный работник, не станешь же отрицать, что в стране наверху много антисемитов? Как это понять, партия, партия и разгул антисемитизма? — Или: — Что ты скажешь о Сталине? Неужели еще преклоняешься перед ним?

Не помню, что он отвечал. Кажется, ответы его были такими же наивными, как и вопросы. Наивными, но искренними. Могу дать голову на отсечение, он верил в то, что говорил. Он не уставал говорить, что в партии идет борьба, и те, о ком я говорю, — это еще не партия, и, если бы ему хоть на неделю дали править страной, он бы знал что делать...

Более разных людей, чем он и я, невозможно было отыскать. Я —еврей, вкусивший с детства горечь национального унижения и никак не могущий найти своего места в жизни. Он — партийный работник, в прошлом секретарь Краснопресненского райкома комсомола, замзав агитпропа МК ВЛКСМ, помощник секретаря горкома партии.

Что же тогда сблизило нас? Через полгода после образования Управления культуры Васильева избрали секретарем парторганизации. Я стал комсоргом, и на вопрос, что сблизило нас, кажется, готов ответ. Но лишь в плохих романах события развиваются по безгрешным законам формальной логики.

Сошлись мы с Васильевым на почве того, что решили вместе написать повесть. Знаю, что звучит это уже совсем фантастично, но вот как все было.

С некоторых пор Николай Георгиевич стал посылать меня в районы. Он говорил — для изучения жизни. На самом же деле, мои задачи были куда скромнее. Я должен был добывать факты для докладов и речей начальника. С этого времени у нас и начали портиться отношения. То, что я видел в деревне, для Николая Георгиевича явно не подходило. Это была совсем иная жизнь, не совмещавшаяся ни в одной точке с тем, что мы писали в справках.

В клубах меня встречали усталые, затурканные люди, получавшие за свой труд зарплату уборщиц, да и труд свой только и видевшие в том, чтобы отпереть, а главное, вовремя запереть клуб. Чаще всего это были девицы из райцентров — иные в институт не попали, иные работы в райцентрах не находили. Были энтузиастки, приезжавшие по путевкам комсомола, и всех почти ждали нетопленые, покосившиеся развалюхи, именуемые в наших справках опорными базами массово-политической работы на селе, и председатели колхозов, зачумленные, озлобленные, иные спившиеся от тяжкой своей судьбы и работы.

В моей памяти жила Иерусалимская слобода, куда в детстве возила меня нянька на лето. С незабвенным моим манежиком в сенях, с теплым парным молоком по утрам, с добрыми колхозниками, катавшими меня

по селу верхом. Иной деревни я не знал. Теперь, разъезжая по районам, увидел ее такой, какой досталась она в наследство от Сталина, голодной, изверившейся, беспаспортной (паспорта отбирали, чтобы не уходили в город), получавшей вместо трудодней чернильные палочки.

В эту деревню и ехали энтузиастки в капроновых чулочках. Одна из них — из села Сандарова, Егорьевского района, звали ее почему-то Вандой — и просила меня похлопотать по одному делу перед начальством в области. Была Ванда коломенская, сразу как приехала, затеяла ставить чеховский "Юбилей". А костюмов не было, на костюмы требовалось "тугриков" восемьсот, а то и тысяча. Она так и сказала "тугриков". Пошла к председателю колхоза, а он в запое был после бюро райкома, где впаяли ему очередной раз. Ни за что ни про что шуганул ее матом. А спектакль уже репетировали...

Одета была Ванда в старое драповое пальтецо, была на ней какая-то старинная с заячьим мехом шляпка. В клубе стоял собачий холод. Она прятала руки в рукава, но рукава были коротки, и, чтобы согреться, потирала их одна о другую и зябко пританцовывала на одном месте.

Я хотел сказать этой Ванде что-нибудь участливое, но что именно — не знал, и наконец выдавил:

— Трудновато вам, наверное, здесь одной?

— А че трудновато? Обыкновенно! — пожала она плечами. — Как везде. Только один хмырь все сватается, участковый из Сандарова. Вчера полез, знаете, пришлось джиу-джитсу использовать, умора была — летел через три ступеньки, — любовничек!

Вернувшись в Москву, я в первое же утро отправился

к Ликовенкову просить для Сандарова денег. Он выслушал меня и сказал:

— С деньгами, дядя, и дурак любое дело сделает. Вы без денег! Людей поднимите, за живое заденьте. Эх, дядя, дядя! — Ликовенков поднялся и зашагал по комнате. Помню мы на Тридцатом заводе скетчи ставили — без единой копейки, такие были парни и девчата, все своими руками делали!

Не солоно хлебавши, от Ликовенкова я зашел к Васильеву и рассказал ему о Ванде.

— Так, говоришь, джиу-джитсу применила к любовничку, — смеялся Леша, — сколько таких сейчас пришло, им же помогать надо. Помогать, черт возьми, а мы?

Не помню, в тот именно или другой раз зародилась у нас мысль взяться за повесть о сельской культпросветчице — но ни у него, ни у меня так и не сохранилось первой нашей рукописи. Впрочем, невелика потеря. Беспомощная, наивная схема, заданность которой видна сразу же, как открываешь ее.

Позже, мы напишем все-таки книжку. Пройдя через редакторов и цензоров, она выйдет в свет в таком искореженном виде, что никаких эмоций, кроме горечи да еще неловкости, что стоят на обложке наши фамилии, у нас самих эта книжка не вызовет.

Но в те дни я взялся за повесть со страстью. Принцип был такой: вначале писал я, затем засаживались вместе.

Моя увлекающаяся натура отныне больше ни о чем не хотела знать. И я разом возненавидел свои бюрократические творения. Николай Георгиевич не мог этого не почувствовать. Он обрушился на меня с такой силой, с какой это мог сделать человек, у которого многое накопилось на душе. И, разгневавшись, открылся, обнаружив в себе изощренного сталинского черносотенца.

Получилось так, что я сразу задержал две справки, и он вызвал меня для разноса.

— Как же так, дядя, МК ждет, Иван Васильевич ждет, а мы?

Не помню всех обвинений, главным была моя недобросовестность и почему-то ловкачество.

Я попытался возразить. Николай Георгиевич не слушал. Он стал багровый, и белые стружки гневно дрогнули на седых висках.

— Вам, товарищ Перельман, доверие оказано, а вы чем отвечаете? Не нравимся, подавайте заявление. Плакать не будем!

Я почувствовал, что срываюсь с тормозов. Сколько держался, смотря ему в рот, ловил его взгляды и вдруг дрызнул, как старая колымага.

— Я не у вас работаю, слышите, не у вас, — летел я в пропасть, — а в своем государстве!

— Его государство, — саркастически улыбнулся Ликовенков.

— Да мое, а почему бы и нет?

— Я не говорю, что нет, —вдруг сбавил он тон. — Но будет вам известно, что это государство не перельманов, а рабочих и крестьян, и служить ему надо честно, а не ловчить...

Я все рассказал Васильеву.

— Ну и что? Что ты ему ответил? — прерывал он меня через каждое слово...

— Ответил, что не у вас работаю.

— Слабо! За такие речи скоро судить будут.

Однажды вечером, когда мы сидели у него на Песчаной и творили нашу культпросветповесть, ему принесли письмо. Он при мне его распечатал и сказал, что оно от одного гениального поэта, фамилия которого Мандель. И тут же рассказал его судьбу. После войны

Манделя арестовали и судили по 58 статье. Все произошло так молниеносно, что мать даже не успела с ним попрощаться. Почти полгода старая, больная женщина обивала пороги разных организаций, пока какой-то добрый человек не посоветовал ей обратиться к секретарю Московского комитета партии Козловой, тут-то она и встретилась с помощником секретаря Васильевым, который, кажется, устроил ей встречу с сыном.

Позже я часто встречал Манделя у Васильева. Он приходил всегда неожиданно, небритый, всклокоченный, в расстегнутой рубахе, со съехавшим галстуком, и читал Леше свои новые стихи. Были они чаще всего о Сталине, о сталинской эпохе, но с его, Манделя, позиции. Алексей разводил руками. Это была высшая форма его восхищения, и, когда Наум кончал, почти всегда повторял одно и то же:

— Эх, если б ты написал о партии, вот было б дело!

Затем он подсказывал Манделю какую-нибудь животрепещущую партийную тему — о парторге или сельском избаче. Тот хватался за нее, восклицал, что это блестящая идея и что сегодня же ночью он засядет за новую поэму. И снова пропадал на полгода или год, и ни за какую партийную тему не садился, а являлся опять же неожиданно, все тот же, небритый, всклокоченный, с новыми произведениями за пазухой.

Однажды Алексей послал Манделя в Волоколамский район. Туда во время так называемого движения десятитысячников уехал председатель колхоза один из ближайших друзей Васильева.

— Представляешь, Наум, коммунист, приехавший из города, вытягивает отстающий колхоз. Какую можно создать поэму! Почти месяц Мандель просидел в колхозе, не отходил от председателя ни на шаг. Приехал восхищенный, сказал, что таких людей еще не видывал. Но по-

том снова пропал, так и не написав ни строчки, а Алексей еще долго недоумевал: "Где же Наум, черт на него, ведь гениальный поэт пропадает..."

Два или три раза за лето с дачи приезжала жена Алексея Нина. Он звал ее Нем. Это было удивительно живое и жизнерадостное существо. В квартиру Нем врывалась с шумом и смехом и тотчас принималась за уборку, потом бежала в магазин и устраивала нам с Алексеем пир: с водкой и отварной картошкой.

В обычные дни мы накупали любительской колбасы и уписывали ее с хлебом и чаем.

Алексей рассказывал, как он женился на Нем. Они познакомились на районном комсомольском вечере. До конца вечера он не отходил от нее ни на шаг. А после повез ее к себе домой. Дом его представлял собой семиметровую комнатенку, меблированную одной-единственной раскладушкой и столиком. Когда они пришли, Алексей запер дверь на ключ и сказал: все! С этого вечера она будет его женой... И так они прожили 13 лет!

Васильев был единственный в Управлении, кого побаивался Ликовенков. Это чувствовалось даже по тому, как начальник Управления называл его: мой парторг или Алексей свет Алексеевич.

Васильев оставался самим собой — сдержанным, неторопливым, басовитым. Мне казалось, что временами я читал в его взгляде: "Мельтеши не мельтеши, а я все же знаю тебе цену".

На первом же заседании партбюро Алексей предложил Ликовенкову выступить на партсобрании с докладом об эффективности работы аппарата Управления. Николай Георгиевич первый поддержал предложение парторга, сказал, что вопрос давно назрел, но кто-кто, а он знал, куда клонит Алексей. Васильев искренне хотел поправить дело и объявил Ликовенкову войну. У каждого

в ней были свои методы. Васильев критиковал Ликовенкова на партсобраниях, обсуждал его работу на партийном бюро и однажды даже вынес вопрос о нем на бюро райкома. Ликовенков ходил и жаловался на Васильева в МК партии. Он говорил, что Васильев – интриган, мешающий ему работать, и требовал, чтобы его убрали.

Эта борьба кончилась полной победой Ликовенкова. Последним Лешиным шагом было письмо секретарю ЦК КПСС Суслову. Не поддержанный ни в ЦК, ни в МК партии, он вынужден был уйти, а незадолго до этого была сокращена должность юрисконсульта.

БУНТ В ЦДРИ

Шел 1956 год. Только что закончился XX съезд партии, на котором Хрущев выступил с докладом о Сталине. Повсюду проходили бурные собрания, осуждавшие культ личности.

Прошло такое собрание и у нас в Управлении. Первое собрание, когда Алексей не был парторгом, и последнее, на котором я присутствовал.

Домой я пришел поздно и, переполненный чувствами, долго не мог уснуть, а рано утром меня разбудил телефонный звонок. Со сна я никак не мог узнать голоса соседа по лестничной клетке – кинорежиссера, недавно переехавшего в наш дом вместе с молоденькой женой Любастиком. Всегда и без того живой и темпераментный, он орал в трубку как оглашенный: "Витька, сволочь! Слышал, что делается в Варшаве? Студенты вышли на улицы. Я всю ночь не спал, разбудил Любастика. Кру-

жил ее по комнате... Демократия! Студенты вышли на улицы!"

Кажется, в тот же день я встретил Генкина. Шел по Петровскому бульвару, и вдруг кто-то нагоняет меня и берет за руку.

— Ба! Великий математик! Сколько лет! Давно ли был в Быкове? Как Крыловы? Что Сендах? Генкин, как всегда, немного странен и не отвечает ни на один из вопросов. С загадочным выражением он вплотную приближается ко мне:

— Готовится реабилитация Бухарина... А кто убил Кирова, знаешь? Сталин!

Все это я уже знаю, и меня интересуют Сендах и сестрички Крыловы.

— А кто заложил Сендаха знаешь? — продолжает он тем же загробным голосом. — Жарков! Учти, все становится на свои места. Идут новые силы.

Мы прощаемся, и я машинально смотрю ему вслед, ошарашенный услышанным. Я хотел спросить, что стало с Жарковым, но не успел.

Я часто вспоминал эту последнюю фразу великого математика. Возможно, оттого, что уж очень авторитетным голосом он выдал свой прогноз, над которым жизнь так зло посмеется. Пройдет немногим более года, и события в Венгрии возвестят миру о закате эры свободы. И новые силы, приход которых пророчествовал Генкин (да и только ли он!), так и не выйдут на арену истории. Впрочем, интеллигенция еще долго будет жить иллюзиями, убаюкивая себя сладкой мыслью, что-де история не знает обратного хода и рано или поздно свет все равно победит тьму. События в Чехословакии положат конец им. И канувшая в лету эра свободы оставит новому поколению лишь полный сомнений самгинский вопрос:

А был ли вообще мальчик? Может, и мальчика не было?

Так много изменилось с тех пор, настолько иным выглядит время, что и самому мне бывает непросто поверить в реальность событий, участником которых я был.

Молодежный вечер в ЦДРИ. Зал так набит, что я еле протиснулся и примостился в проходе. Сижу ошарашенный, с трудом веря в происходящее. Обсуждают фельетон "Плесень". Кто обсуждает? Да кто угодно! Вход на вечер открыт для всех.

Один из ораторов, представившийся студентом филфака, говорит, что советское общество, разделенное на касты, построено вопреки Марксу. В "Критике Готской программы" Маркс выдвинул требование, чтобы зарплата чиновника не превышала зарплаты среднего рабочего". А посмотрите, что творится у нас? Зал бурно аплодирует.

— Сейчас его сграбастают, — острит сзади меня мужской голос. Но на трибуне уже другой оратор.

— Кто вы? — пытается выяснить председательствующий.

— Не все ли равно кто? Гражданин свободной страны! — Размахивая перед собой руками, он волнуется, мешают длинные волосы, спадающие на глаза. Он говорит, что молодежь живет серой, неинтересной жизнью...

— Время, время, дорогой товарищ, — нервничает председательствующий.

— Я хотел спросить, — бросает волосатый в зал, — устраивает ли вас комсомол?

— Да, устраивает! — восклицает из президиума полнолицый рыжеватый крепыш с комсомольским значком на лацкане пиджака.

— Слово имеет заведующий отделом газеты "Комсомольская правда" Алексей Иванович Аджубей.

И полнолицый произносит получасовую речь, обрушившись на желторотых юнцов, неизвестно как и зачем проникших в ЦДРИ.

— У вас нет права так говорить! — гремит зал. — Здесь все равны.

Председательствующий изо всех сил стучит стеклянной пробкой по графину:

— Может, на сегодня, друзья, хватит?

— Еще! — гремит зал. — Почему не всем дают слово?

Вечер кончается во втором часу ночи...

Это был еще пятьдесят пятый год, а вот уже весна пятьдесят шестого. Заседание литературной секции Московского областного лекционного бюро. Среди членов секции, собравшихся на это заседание, присутствую и я. На повестке дня — обсуждение романа Дудинцева "Не хлебом единым".

Приглашен и сам Дудинцев. Низенький, плотный человек, с большими отечными мешками под властными, острыми глазами, он говорит о прототипах Шутикова и Дроздова, о том, какие мытарства пришлось пережить роману, пока он увидел свет. Шутиковы и Дроздовы сидят не только в Министерствах, они и в издательствах...

Слово берет председатель секции доцент МГУ Пустовойт. Ему тоже нравится роман Дудинцева. Но, по его мнению, в нем несколько смещены акценты. Не показана роль партии, и поэтому зло не получает должного отпора.

— А в жизни зло получает отпор? — поднимается Дудинцев, его маленькие, злые глаза готовы пробуравить Пустовойта. — Хотите обязательно равновесия положительного и отрицательного.

Я целиком на стороне Дудинцева, остальные тоже. Принимается решение — начать широкую пропаганду романа "Не хлебым единым".

Через несколько дней снова встречаю его автора. В толпе, возле Центрального дома литераторов. У входа в ЦДЛ конная милиция. С минуты на минуту должно начаться обсуждение романа. Какая-то старушенция тщетно пытается прорваться сквозь кордон милиции.

— Ты что, бабуся? — берет ее за локоть улыбающийся Дудинцев. Вместе с Симоновым он с трудом продирается к двери.

Старушка даже не слышит его.

— Да куда же ты, бабуся? Что случилось?

— А то не знаешь? Какой-то Дудин, говорят, правдивую книгу написал!

Но почему потерпел крушение этот бурный, клокочущий,столь много обещавший пятьдесят шестой год? На XX съезде Хрущев выступил с разоблачением культа Сталина. Но парадокс состоял в том, что никакого культа уже не было, ибо уже три года не было в живых самого Сталина. Единственный удар, который можно было нанести вождю — это вынести его останки из мавзолея. Но повсюду остались сталинисты, и фактически удар Хрущева пришелся против тех, кто сидел в Большом кремлевском дворце и бурно аплодировал ему, принимая решения XX съезда. Произошла удивительнейшая вещь — единогласно проголосовав за резолюцию съезда, они фактически повели против нее тайную и жестокую борьбу.

Принято говорить, что английский король царствует, но не правит. В Советском Союзе, кто бы ни стоял у власти, всегда правит партийный аппарат. Эпоха Хрущева блестяще это доказала. Он был первым секретарем ЦК, позднее и председателем Совета Министров СССР.

Он оставался лишь царствующим королем, лишь главным режиссером событий на авансцене. Фактически правили те, кто находился за кулисами. Они, в частности, и решили исход борьбы между Лешей и Ликовенковым.

"ПРИ ИХ МОЛЧАЛИВОМ СОГЛАСИИ..."

В один из зимних вечеров я зашел к Васильеву и застал всегда шумную и жизнерадостную Нем плачущей. Едва успокоившись, она зарыдала снова и стала говорить, что больше так жить не может. У нее давно уже нет мужа. Алексей из-за своих партийных дел давно уже не живет, а существует.

Сам Алексей сидел подавленный и молчал. В тот день я не был на службе, и в мое отсутствие произошло событие, которое решило все. Нет, это случилось не на партийном собрании, а за кулисами — маленькое, незначительное событие по ведомству никогда и ничего не решающего сектора учета райкома партии.

Обстановка в Управлении культуры накалилась к тому времени до предела. В ЦК одно за другим шли анонимные письма. Нет, не на Васильева обрушился неизвестный автор, а на Ликовенкова, на его моральный облик. Имея жену и дочь, он, оказывается, одновременно сожительствовал с двадцатидевятилетней сотрудницей Управления Галиной Акимовой. При этом приводились детали, которые могли быть известны только самому Ликовенкову и секретарю парторганизации.

Некоторые, уже не стесняясь, говорили, что, борясь с Николаем Георгиевичем, Васильев не брезгует никакими средствами. Алексей сам предложил вынести

вопрос на партийное собрание, но Ликовенков почему-то оттягивал его. И теперь стало ясно почему.

К концу дня Васильеву позвонил инструктор райкома и сообщил, что решено выделить из парторганизации Управления культуры отдел радиоинформации, находившийся в другом районе. Отдел радиоинформации, насчитывающий 17 коммунистов, был единственным, который в полном составе поддерживал Алексея.

— Но почему так решили? В чем причина? — недоумевал по телефону Васильев.

— Ни в чем, — последовал невозмутимый ответ, — просто руководство решило, что так будет правильнее, ведь партия строится по территориально-производственному принципу, а не просто по производственному.

Ни у меня, ни у Васильева не было сомнения, чьих это рук дело. Оставался один выход — обратиться в ЦК партии.

— Партия не может от нас отвернуться, — говорил Васильев, — мы же отстаиваем ее линию.

Письмо к Суслову мы вынашивали вместе, и так же, как Алексей, я с нетерпением ждал развития событий. Примерно через две недели позвонили из ЦК и сообщили, что письмо направлено в Московский комитет, лично товарищу Капитонову.

Алексей пытался возражать, но голос в трубке невозмутимо ответил: "Московскому комитету мы и не такие дела доверяем".

А еще через неделю его вместе с Ликовенковым пригласили к секретарю обкома по пропаганде Андрею Ивановичу Горчакову, с которым Алексей работал в свое время в МК комсомола.

Леша всю ночь писал, готовился к бою. И я снова ему помогал, не подозревая, что там, за кулисами, уже все решено.

Горчаков встретил их как лучших друзей, вышел из-за стола.

— Ну что, петухи, явились? — он был в отличном расположении духа, с его лица не сходила улыбка. — Иван Васильевич просил меня тут с вами разобраться. А чего разбираться, работать надо, а не письма писать.

— Но мы же коммунисты! — пытался вставить Васильев.

— Знаю, знаю, Леша, ты человек горячий, принципиальный, а он начальник Управления, с ним тоже считаться надо.

— Веришь или нет, товарищ Горчаков, за два года одни только склоки. Сил больше нет, честное слово! — поднялся Ликовенков. И, достав из кармана носовой платок, стал шумно сморкаться.

— Справки, между прочим, тоже нужны, — продолжал Горчаков. — Вот только перед вами вызывает меня первый секретарь и говорит: "Срочно давай наши предложения по Союзпечати, ЦК к завтрашнему дню требует". Так что же мне теперь, первого секретаря в бюрократизме обвинить, так, что ли, Алексей?

— Но я не против справок!

— Знаю, Алексей, ты из хороших побуждений. В общем, так, друзья, письмо это мы, конечно, закроем. А вы давайте за дело, дружно, по-партийному. А то что же получается? Народ решения XX съезда обсуждает, против культа личности борется. А мы? В общем, за дело и будьте здоровы. А то мне достанется на орехи из-за этой Союзпечати, будь она неладна.

На этом аудиенция закончилась. Через несколько месяцев Васильев ушел из Управления. Вскоре ушел и я. Только друзья еще долго подшучивали надо мной:

— Правдолюбец, интересно, зачем ты ввязался в эту

историю? И что тебя связывало с этим Васильевым? Чего ты хотел добиться?

— Чего хотел, — отшучивался я, — ясно чего — посклочничать. Вы же знаете мою натуру, неспособную жить в мире с начальством...

Если мне что-то сложно объяснить, я всегда отделываюсь шутками. Когда-то Васильев говорил, что нас с ним связывала вера в партию. Из песни слова не выбросишь. Это было действительно так. Но с одной существенной оговоркой. Я верил в партию 56-го года, в партию XX съезда, в партию, проклявшую Сталина. Я верил в то, чего никогда не существовало, и, вступив в одну партию, оказался совсем в другой.

События прошлого не проходят бесследно для их участников, и 56 год не был в этом смысле исключением.

В последнее время я почти не встречаюсь с Васильевым. Работает он в центральном аппарате, на хорошем счету. Уже много лет ни с кем не борется и, как миллионы других, аккуратно голосует за решения вышестоящих органов. Словом, зрелый работник, которому можно доверить любое дело. Живет он там же, на Песчаной. Правда, его Нем сильно сдала, хотя осталась такой же обаятельной и жизнерадостной, как была когда-то. Берут свое годы и у Алексея. Раньше он просиживал целыми вечерами за письменным столом. Теперь предпочитает вечерами прогуливаться по тихим песчаным улицам. Однажды я встретил его идущим под руку с пожилым, седеющим человеком, лицо которого я совершенно очевидно где-то видел.

— Вы не знакомы? — спросил Леша. — Андрей Иванович Горчаков, бывший секретарь МК.

Горчаков — теперь персональный пенсионер, живет по соседству с Васильевым, и вечерами они вместе гуляют возле дома. Я давно убедился, что жизнь любит перета-

совывать карты, и ох, как трудно иной раз разобраться в колодах, которые она нам подсовывает!

Случается, заводим с Алексеем разговор о прошлом. Он смеется:

— Бойцы, едрена палка! Один друг у нас в отделе здорово по этому поводу говорит. Знаешь, Леша, что в нашей жизни самое главное — это уметь молчать и голосовать. Во, брат, философия! — смеется Алексей.

Васильев говорит, и я думаю о метаморфозе, которую претерпел он сам, растворившись в миллионах молчащих и голосующих.

Один из моих знакомых — мудрый 73-летний старик, объездивший весь мир, любит говорить: "Надо знать, в какой стране родиться". Но на этот счет есть и еще одна мудрость, принадлежащая древним китайцам: "Ищи корни бед своих в самом себе". Многое становится ясным, если обратить эту мудрость на беды России, которой на протяжении всей ее истори сопутствовала незаслуженно тяжкая судьба. Татарское иго, крепостничество, гнет жестоких царей, сталинизм... Но отчего все это?

Согласно марксистскому учению, народ — единственный творец истории. В советской конституции записано, что он и только он является полновластным хозяином страны. А недавно на одной из художественных выставок я натолкнулся на полотно, которое, по замыслу автора, должно было воплотить эту мысль посредством живописи. На полотне депутаты, сидящие на сессии Верховного Совета СССР в Большом Кремлевском дворце. Ничего не выражающие лица. Покорно поднятые руки: за что они голосуют? За новую пятилетку? За новый бюджет? За новых министров? Праздные вопросы! За все, что им будет предложено!

Я смотрел на их лица и думал о прошлом России.

Это на спинах их дедов и прадедов 300 лет стоял нетленным дом Романовых. Это их, стонущих в рабстве дедов и прадедов, звали к бунту Герцен и Чернышевский. На трупах их сограждан, заживо сгноенных в подвалах Лубянки и лагерях Сибири, пришел к власти Сталин. Голодом и недородом они платили за ошибки Хрущева. Серой и убогой жизнью — за бездарность его преемников, и кто бы и как бы ими ни правил — они молчат и терпят.

Вероятно, творить историю тоже можно по-разному — можно, как французские санкюлоты, добывающие свободу на баррикадах, а можно, как "народные избранники", предоставившие все за себя решать другим, а самим лишь — "молчать и голосовать".

Одну из своих книг, написанных в 37 году, Бруно Ясенский предваряет широко известным эпиграфом — словами Роберта Эберхардта из "Царя Питекантропа Последнего". Вот этот эпиграф: "Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство". Миллионами жертв, погибших в сталинских застенках, расплатились люди в России за свое бесценное умение "молчать и голосовать".

И это же, в сущности, умение проявили в 56 году двадцать два коммуниста Управления культуры, когда снимали их парторга Алексея Васильева.

Как позже доложил начальству присутствовавший на собрании представитель обкома, партийная организация проявила высокую зрелость. Собрание прошло без нездоровых выпадов и демагогии. Впрочем, иначе не могло и быть. Все уже знали, что Васильевым недовольны в МК и будто бы сам первый секретарь сказал, что ему нечего делать в Управлении. Поэтому, когда Алек-

сей просил освободить его от обязанностей парторга, никто не промолвил и слова. Молча проголосовали. И постановили: "Просьбу товарища Васильева удовлетворить. 22 — за и ни одного — против".

И так же, но несколько позже, голосовали в Союзе писателей, осуждая вредный роман Дудинцева. И так же исключали из партии историка Некрича за его антисталинскую книгу "41-й год", а из Союза писателей — Александра Солженицына. При молчаливом согласии равнодушных шла борьба с космополитами. На этом извечном, покорном согласии, в том числе согласии самих евреев, во все времена зиждился антисемитизм.

Так было и так есть. Молчит Россия. Молчит. И нет границ ее терпению...

... А областное Управление культуры находится все там же, в проезде Куйбышева, неподалеку от входа в ГУМ. Правда, Михала Петрович вышел на пенсию, отслужив четверть века на поприще областной полиграфии. Зато старый холостяк Лоритто все так же выдает путевки актерам Мосэстрады, выезжающим в область. И стоят где-то там подведомственные Управлению развалюхи-клубы, опорные базы коммунистического воспитания трудящихся. И справки пишутся, как и раньше, в бытность Ликовенкова.

Сам Николай Георгиевич несколько лет назад умер. Узнал я об этом случайно, наткнувшись на маленький некролог в "Московской правде". Некролог был загнан куда-то в угол, на четвертую страницу. Будто перед смертью допустил Николай Георгиевич некие тайные прегрешения. Недоумение рассеял Васильев, которому я тут же, как увидел газету, позвонил.

— Никаких загибов! Просто обнаружили у него в несгораемом ящике копии анонимок. Помнишь те, которые шли на него в ЦК. Не успел, видно, уничтожить — разрыв сердца!

— Анонимки у него самого? Так что же это, выходит, он сам на себя... — все еще никак не могу я поверить.

— То и выходит, что думаешь, — отвечает Васильев, явно раздраженный моей непонятливостью.

Конец первой книги.

СОДЕРЖАНИЕ

Художник Лев Ларский
Корректор Нина Островская
Технический редактор Наталия Ларская

Издательство "Время и мы"
ул. Нахмани, 62/9, Тель-Авив
Тел. 621085.

62/9 Nachmani st. T.A.

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

Виктор Перельман — журналист и писатель, главный редактор журнала "Время и мы". Родился в 1929 году, в Москве. Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты "Труд", заведующим отделом и специальным корреспондентом "Литературной газеты".

В 1973 году выехал в Израиль. На Западе выступал в газетах "Нью-Йорк Таймс", "Стампа", "Фиера леттерариа", "Едиот Ахронот", "Давар", "Русская мысль" и других.

Книга Виктора Перельмана "Покинутая Россия" удостоена второй премии Иерусалимского университета.